

Э. ГОРЮХИНА Путешествия учительницы на Кавказ



Эльвира
Горюхина

Путешествия
учительницы
на Кавказ

*Книга издана при поддержке
благотворительной организации
Институт «Открытое общество»
(Фонд Сороса)— Россия
в рамках программы
«Горячие точки»*



*Эльвира
Горюхина*

*Путешествия
учительницы
на Кавказ*

ОЧЕРКИ



«ТЕКСТ»
ЖУРНАЛ «ДРУЖБА НАРОДОВ»
МОСКВА 2000

ББК 66.3 (2Рос)31
Г71

Художник Татьяна Иващенко

*В оформлении серии
использован фрагмент картины
Эдварда Мунка «Крик»*

ISBN 5-7516-0224-2

© «Текст», 2000

© Журнал «Дружба народов», 2000

РАЗБРОС ПРИ ОБСТРЕЛЕ

Читаю очерки Эльвиры Горюхиной о событиях нашей ближней истории, вместе с ней задаюсь вопросами: «почему возникли “горячие точки” на территории СССР и России?», «почему в них проявилась невообразимая жестокость по отношению к братским народам?» — и невольно мысленно возвращаюсь в недавнее прошлое, к началу демократизации и реформ. Именно тогда впервые разжалась пружина, которую тоталитарный режим закручивал на протяжении более 70 лет. К сожалению, многие в тот период перепутали понятие свободы с понятием воли и наше развитие во многом стало определяться не законодательным порядком, а желанием этих многих враз перевернуть все устои нашей жизни. Особенно это проявилось среди малочисленных народов и наций, которые сочли, что наступило время, когда можно не только стать свободным и независимым, но и свести счеты со своим обидчиком (так они считали) — народом другой национальности. Центральная власть явно была не готова к такому повороту событий и не нашла лучшего решения, чем, как всегда это делал тоталитарный режим, применить силу. Теперь на нашей земле появились так называемые «горячие точки», с которыми мы уже встречались и в Берлине, и в Будапеште, и в Праге.

Когда Россия в январе 1991 года заступилась за Литву, где для подавления инакомыслия руководство СССР применило танки, ее позиция была ясна и понятна — мы были на стороне демократии и свободы. Хуже стало, когда дело дошло до северокавказских автономий. Помогая Абхазии обрести независимость от Грузии, мы утратили четкость позиции и, похоже, вконец запутались, когда дело коснулось Чечни, да и других кавказских республик, народы которых пострадали от депортации в военные годы.

Вспоминаю знаменитый и трагичный Закон о реабилитации репрессированных народов, который был принят Верховным Советом

РСФСР. Уже тогда было ясно, что вернуть прежние границы «аннулированным» республикам и репрессированным народам, какой бы несправедливой ни была нанесенная им обида, не удастся. Однако мы, российские депутаты, создали несколько правительственных комиссий и поручили им решить этот вопрос в течение нескольких лет. Вот здесь всех нас подстерегала великая опасность: желание ускорить этот процесс обуяло некоторые горячие головы из народных депутатов, что чуть было не привело к гражданской войне в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и привело-таки к войне между ингушами и осетинами. Совершенно особое положение в тот период сложилось в Чечено-Ингушетии. На фоне резкого неприятия тогдашней местной коммунистической власти, к тому же подержавшей ГКЧП, и острой обиды за депортацию 1944 года началась решительная борьба за самостоятельность и независимость чеченского народа.

Здесь переплелось все: и ошибки депутатского корпуса, и неправильная позиция руководства России, решившего успокоить республику путем введения чрезвычайного положения, и абсолютная неготовность военных, и наивность демократов, которые считали, что простая замена коммунистических правителей на генерала решит все проблемы и Чечено-Ингушетия пойдет путем реформ и демократизации. Ничего этого не произошло. Воспользовавшись труднейшим экономическим и политическим положением в стране, Дудаев нацелил чеченский народ на создание независимого государства.

Руководство России не сумело найти правильного выхода из создавшегося положения и, вмешавшись своими вооруженными силами, вызвало войну, которая вскоре превратилась для чеченского народа в национально-освободительную. Как борьба с бандформированиями, террористическими группами могла перерасти в войну с народом республики?

Об этом — замечательные, проникновенные, пронизанные болью очерки русской учительницы, по велению сердца побывавшей в самых «горячих точках» Кавказа. Ее рассказ — о том, что она увидела собственными глазами «с той стороны». Порой не хочется верить в то страшное, о чем она рассказывает, но не верить невозможно. И хочется вместе с автором разобраться в причинах трагедии и ответить на множество вопросов, которые она поставила в своих очерках.

Многое из того, что происходит с Чечней сегодня и происходило в нашей совместной истории, идет от незнания и нежелания познать традиции этого народа, его обычаи, культуру. В своих очерках, полных точных наблюдений, удивительных встреч, Эльвира Горюхина на простых примерах из жизни обыкновенных людей очень точно показывает нам их красоту и чистоту. Чем дальше читаешь, тем больше ловишь себя на мысли, будоражащей совесть: нельзя на всех этих людей смотреть как на бандитов и жуликов. В подавляю-

щей массе они чище, чем думают некоторые из нас, честнее, мудрее. Очень показательный разговор произошел у автора с одним чеченцем-бровиком. Ссылаясь на тот эпизод из «Хаджи Мурата», где Толстой говорит о ненависти чеченцев к русским, она вспомнила слова: «...они относились к русским, как к крысам». И в ответ получила: «Многие трудности на земле идут именно от того, что суждения великих людей читаются неправильно. Толстой писал о другом. Он сказал, что в каждом народе есть свои крысы. И — не более того!..»

А я вспоминаю Махмуда Эсамбаева — красивого, элегантного чеченца, великого танцора. Как он любил Россию! Как переживал из-за того, что происходило на его родине. И как переменялся, как стал ненавидеть российское политическое и военное руководство за то, что сотворило оно с Чечней, ее народом. Но продолжал любить и почитать русский народ. Помню недоуменный вопрос, который он задал мне по телефону из Грозного, когда на его глазах разбомбили его дом. Я поинтересовался тогда в Министерстве обороны, почему бомбят мирные дома. Ответ был ужасающий: «Таков разброс при обстреле...» И так и не смог я добиться у генералов: где же то хваленое точное оружие, за которое они получили премии и награды?

Большую часть повествования автор ведет через детей — через разговоры с ними, через их письма, сочинения. Это и рвущие сердце рассказы об убитых и потерянных родных и близких, о разрушенных домах, бомбежках, несчастливых встречах с нашими солдатами, и мучительный вопрос: «Чем мы провинились перед Ельциным, Дудаевым и Грачевым?» Хорошо, когда зверь обрусел, плохо, когда русак озверел (это когда минометом — по детям).

И, конечно, незабываемые драматические страницы, рассказывающие о матерях наших солдат, которые, разыскивая сыновей, становятся профессиональными сыщиками, о столкновениях с военными чиновниками, их бездушии, чванстве, изощренном издевательстве. Автор с болью делает вывод о том, что именно они лишают людей веры в защиту со стороны государства и заставляют самостоятельно, любыми способами искать спасения для своих детей. Так было и будет всегда в государстве, которое на первое место ставит свои собственные интересы государства, а интересы человека, его права и свободы — рассматривает как производные. Несмотря на то что в новой Конституции России 1993 года права и свободы человека декларированы как главная забота государства, в жизни интересы государства по-прежнему превалируют. Положение в армии, война в Чечне подняли солдатских матерей, и во многом благодаря им общество узнало о том, что в нашей армии не все благополучно. Эльвира Горюхина пытается так рассказать о причинах бегства молодых солдат из армии, чтобы стало ясно, что это не трусость, а своего рода сопротивление, способ сказать власти: «Нет». В подтверждение этой мысли она ссылается на А. И. Солженицына,

который утверждает в «Архипелаге ГУЛАГ», что причиной многочисленных жертв тоталитарной системы, да и самого ее существования, является отсутствие сопротивления. И здесь автор высказывает, по-моему, свой главный философский вывод: «Ответить на вопросы жизни можно кардинальным изменением вектора своего бытия, чтобы не утратить свою собственную сущность». Война и русских раздвоила. Мы продолжаем жить в состоянии своей странной внутренней войны, не имеющей линии фронта.

Автор ставит и вопросы к власти, к депутатам: «Почему, когда идет война и остро нужны законы об обмене, об амнистии, о социальном обеспечении и другие, депутаты и Президент уходят на отдых?»

Что же дальше? «Дальше глубокая, глубокая бездна, в которую в любой момент может провалиться Чечня, если верхушки России и Чечни не образуются» — так думает один из собеседников Эльвиры Горюхиной.

Чем закончится эта война? Что — после нее? Эти вопросы мучают многих людей. Некоторым из них хочется дать ответ сразу и категоричный. Но я бы поостерегся быстрых решений. Судьба сделала нас соседями. В одном из очерков Эльвиры Горюхиной есть всего несколько строк о красавце Курейше — смелом, волевом, честном и очень религиозном чеченце, который свято почитает традиции отцов. Одна из них — **дорожить соседом, и прежде всего тем соседом, который исповедует другую веру.** Хочется верить, что и мы, русские, и чеченцы последуем этой традиции и избавимся наконец от ожесточения, которое породил в наших душах долгий тоталитарный режим.

Когда в день пятидесятилетия депортации ингушского народа я привез в Ингушетию от Президента России письмо, в котором он от имени российского государства попросил у ингушей прощения за эту историческую вину, Руслан Аушев в присутствии огромного числа ингушей подвел меня к камню, накрытому белым покрывалом. Мы вместе сдернули этот покров, и моим глазам открылась надпись: «Здесь будет сооружен памятник жертвам геноцида ингушского народа в 1944 и в 1992 годах». Мне стало больно. Я не мог полностью согласиться с написанным, но что поделаешь, историю своего народа пишет сам народ. Придет время, когда Россия попросит прощения и у чеченского народа! За то, что не хватило терпения и умения договариваться. За то, что не смогли уберечься от роковых шагов.

Думаю, такие же мысли посетят и читателя очерков Эльвиры Горюхиной.

Сергей ФИЛАТОВ

ОТ АВТОРА

Когда же это все началось для меня? Когда?

Уж не в ту ли ночь на 9 апреля 1990 года, когда, казалось, вся Грузия пришла на проспект Руставели, чтобы вспомнить события годичной давности, а я, забросив в почтовый ящик записку своему другу Тенгизу Абуладзе, бросилась в самую гущу толпы, чтобы разделить с грузинами горечь и боль тех дней, чтобы тихо и молча повиниться, что не смогла приехать год назад. Дома меня предупреджали не мозолить глаза. Но когда я, забывшись, начинала говорить по-русски, ко мне тянулись руки старых и молодых грузин. Неизменно я слышала одну и ту же фразу: «Как жаль, что в этот день с нами мало русских!»

Ближе к четырем утра, часу, когда год назад залязгали советские танки, в толпе то и дело раздавались крики: «Скорую! Скорую!» Люди падали в обморок при одном воспоминании о тех днях. Помнится мне, чучело генерала Родионова горело совсем не так, как показывало телевидение. По сути, это было фольклорное действие, когда народ сжигал свои страхи, свои наваждения. С остатками пламени уходила боль. Выпрямлялась спина.

Откуда было знать, что в этом пламени уже был другой знак. Тогда погибли двадцать человек. Через полтора года, когда я пряталась от бомб в заблокированном Сухуми, жертв уже никто не считал. Однажды я забилась в каморку связистов санатория МВО. Там находились русские, украинцы, грузины, не успевшие выбраться из крошечного ада. Света не было. Не было хлеба. Горели одинокие свечи. Штормило море, и с определенной частотой проносились над нами и разрывались в районе Эшер бомбы. Чьи это были бомбы?

Разобрать было невозможно. Ощущение ирреальности происходящего, ощущение, что это не должно было случиться, оказалось самым сильным. Но это случилось. Империя распадалась.

С тех самых пор, как только выбирается свободное время, я собираю свою котомку и ухожу на целые месяцы по маршруту Чечня — Осетия — Ингушетия — Карабах — Абхазия — Грузия.

ЧЕМ СПАСЕМСЯ?

«ЭТО ВСЕ НЕ ВХОДИТ В МОЙ УМ»

Грузия. 1992 год

В октябре 1991 года, когда в Тбилиси прозвучали первые выстрелы гражданской войны, я уже твердо знала, что буду в Городе своей мечты.

«Зачем ты едешь, ведь там война?» — спрашивали меня. «Потому и еду, что война», — отвечала я.

С людьми грузинской культуры у нас давние связи. В Новосибирске бывали режиссеры Резо Чхеидзе и Тенгиз Абуладзе, Отар Йоселиани и Эльдар Шенгелая. Сочинения наших детей читали и комментировали Нодар Думбадзе и Отар Чиладзе. Так где же я должна была быть, если Эльдару Шенгелая грозит арест, если Резо Чхеидзе не ночует дома, если автора «Покаяния» сразила болезнь?

Это особая тема разговора: Человек и Другая культура. Когда-нибудь я к ней вернусь. Но еще в мае 1991 года, когда Грузия выбирала своего первого президента, я увидела грузин какими-то другими. Увидела их не в тот час, когда они творят миф о самих себе в грузинском застолье. Это были как будто те же самые люди, но что-то другое проступало в чертах знакомых лиц. Это новое манило и не отпускало.

Но была, как я теперь понимаю, еще одна — тайная — причина всех моих поездок в Грузию, полыхающую огнем. Как это ни покажется парадоксальным, меня гнало в горячие точки беспокойство за моих учеников. Что-то тревожное чувствовалось в поведении моих детей, чему я не могла найти ни определения,

ни объяснения. «Это все не входит в мой ум», — написала моя десятилетняя ученица.

«Я боюсь, как наша страна будет жить» — эта строчка из сочинения Илюши Казарновского пронзила меня болью. Что стоит за детским страхом, в основе которого — неверие в мощь государства? Благо это или знак надвигающейся беды? Когда пришла беда на землю, щедро дававшую, казалось, всем нам духовный приют и надежду, я должна была быть там, где моим друзьям плохо.

В разломе времени грузины показались мне другими. За контурами единичной судьбы проступала наша общая драма. Но главное, что приоткрывалось мне, — трагичнейшее существование наших детей, чье детство с самого рождения и по сегодняшний день проходит в условиях странной войны, не имеющей линии фронта. За очень существенными вопросами — территориальной целостности того или иного государства, проблемой, быть или не быть автономии, — встает другая, скрытая от всех нас проблема *нашего будущего, которого может не быть.*

Эту тревогу и боль ощущаешь сразу. Люди с автоматами, баржи, перегруженные беженцами, разрывы снарядов, горящие здания, взорванные мосты — это видишь и слышишь в зоне конфликта, как мы называем места самой истребительной, самой чудовищной войны, в которую втянуто все мирное население.

Итак, все по порядку...

В середине января 1992 года Тбилиси был не похож на себя. «Что сегодня случилось в Тбилиси?» — эта строчка из стихов Заболоцкого не давала покоя. И хотя было ясно, что идет война, глаз не мог смириться с тьмой, в которую был погружен один из прекраснейших городов мира.

Горе в зонах конфликта ощущалось с первой секунды. Оно — в глазах женщин, детей и стариков. Уже в аэропорту ко мне подходит немолодая дама и предлагает ехать вместе с ней на попутной машине до Самгори — рейсовых автобусов нет. По дороге выясняется, что у Медико, так зовут женщину, сгорел дом. Об этом ей сообщили в Москву, где она была у сестры.

Шофер, решивший на нас заработать, круто меняет маршрут. Мы не остановимся в Самгори. Мы поедем через весь город к дому Медико.

С нами в машине русский мужчина, который едет... в цирк.

Папа едет к дочери ставить номер — танец на проволоке. Тоже нашел времечко.

Машина не въезжает на проспект Руставели: центр города разрушен. Поднимаемся по Сулхан-Саба до улицы Котэ Месхи. Где-то здесь дом великого режиссера XX века Сергея Параджанова... Сколько раз я бывала в этом доме! Каких только людей не собирал этот дом — бывших зеков, поэтов, режиссеров, банщиков, актеров, зеленщиков...

Мтацминда, священная часть города, в непривычной тьме. Обгоревшие дома корячатся обнаженными остовами. Дом Медико сохранился — точнее, каркас дома. Квартиры же все выгорели. Но Медико упорно идет к своему дому. Ей кажется, что именно ее квартира уцелела. Позднее я пойму, как разрушительна для психики человека мысль о разрушенном доме... Как опасна эта мысль для детской психики... Если верить Мерабу Мамардашвили, что личность обретает свою сущность через напряжение «человек — символ», то, вне всякого сомнения, одним из главных символов является Дом, Родной Очаг.

Итак, Дома нет. «Они сказали мне правду, что дома нет, — странно спокойно говорит Медико и вдруг спрашивает меня: — Скажите, куда мне ехать — к сестре или к подруге?» Я не знаю, куда надо ехать Медико. Не знает этого и шофер. Не может этого знать и папа девочки, которая танцует на проволоке. Так я столкнулась впервые с лицом войны, которая полыхает не первый год и которую ничто не может унять...

А наутро я еду в цирк — обменять чужой чемодан на свой.

22 января в промозглом Тбилиси труппа Ташкентского цирка горела одним желанием — дать представление для детей. Переполненный детьми цирк явил странное и жуткое зрелище. Я впервые в жизни столкнулась с молчащими детьми. Они сидели часа два в кромешной тьме. Дежурная лампочка позволяла увидеть пар от дыхания. Казалось, тепло навсегда покинуло этот южный край. Дважды давали свет. И дважды выходил на арену блестящий Гурам, возвещая начало чуда. Дважды цирковое инструментальное трио, одетое в шапки-ушанки, взметало под купол цирка прекрасную и гордую мелодию «Тбилиси», от которой першило в горле, и дважды представление прерывалось... «Только у нас, в Ташкентском цирке, тигры выступают без клеток. Только у нас...»

По фойе, освещенному единственной свечой, водили на поводке тигра. Дети подходили к тигру, как к кошке, — никакой боязни.

— А что им тигр, если они засыпают под автоматную очередь, — слышу чью-то реплику.

Папа девочки, танцующей на проволоке, всю жизнь проводивший на арене, спрашивает меня:

— Почему дети молчат? Господи, хоть бы они кричали, свистели, топали. Невыносимо детское молчание.

Что правда, то правда. Детское молчание вынести невозможно.

Представление в тот день не состоялось. Просидев больше двух часов в холоде и тьме, дети покидали цирк через единственную дверь. Выходили тихо, молча, не толкаясь. Как из бомбоубежища. Леденящую тишину нарушил одинокий детский плач, который, начавшись, тут же прекратился...

Так я впервые столкнулась с молчащими детьми. Это лишило меня покоя. Что же стоит за этим недетским молчанием? Что?

Все чаще и чаще на дорогах войны я встречала детей, которые остались один на один со своими страданиями и мучительно неразрешимыми вопросами. И я видела собственными глазами, как гибнут и стареют дети под тяжестью горя.

Это было в Западной Грузии в январе 1992 года. Мы шли с отрядом «Мхедриони» на Зугдиди. Первый проход через Рикотский перевал, заваленный снегом. Указательные знаки, говорящие не столько о географических смыслах, сколько о современной драме: Северная Осетия, Южная Осетия, Кутаиси, Очамчирра, Сухуми... В Сенаки мы попали днем. По центральной улице шла демонстрация в защиту смещенного президента. Толпа состояла в основном из немолодых женщин. Истошно орущие женщины со сжатыми кулаками были чьими-то женами, матерями, сестрами, бабушками... Они царапали нашу машину с красным крестом, намереваясь перевернуть.

Меня бы, наверное, охватил испуг, если бы я не увидела другую картину, смутившую мою душу. От толпы сенакских мужчин отделился мальчик лет шести-семи. Он пошел навстречу нашим мхедрионцам, которые вышли из машины. Красивые молодые люди с автоматами наперевес имеют опыт общения с населением. Один из них, Малхаз, привлек внимание ребенка. Мальчик кинулся к Малхазу. Но, дойдя до середины пути, должно быть, вспомнил сурово молчащих сенакских мужчин и повернул назад. Через две минуты он снова ринулся к нам — и снова какая-то сила остано-

вила его. Так он метался между двумя группами взрослых людей, не в силах одолеть границу, прочерченную кем-то или чем-то. А потом как-то странно осел, превратившись в старичка. В глазах застыла мука. Наша машина покидала площадь. Метания шестилетнего мальчика, казалось, никому не были видны. Где-то там, в орущей толпе, была, возможно, мать или бабушка этого сенакского мальчика. Кем-то оно станет, это дитя, согнувшееся под грузом недетских страданий?

Я поняла уже тогда, в январе, что эти вопросы не оставят меня. По ночам мне снился мальчик из Сенаки. Но у меня не было денег снова поехать в Грузию.

В сентябре того же года в Тбилиси открылся международный кинофестиваль. Я получила приглашение.

Внуково. Самолеты в Тбилиси не летают. Мотаюсь по аэропорту со своим билетом, а сдать его нет сил. Наконец слышу:

— Начинается посадка на рейс Москва—Сухуми.

Кассирша говорит, что из Сухуми я никогда не попаду в Тбилиси — там война. Второй месяц полыхает Абхазия. Каким-то образом попадаю в депутатскую комнату аэропорта. Срочно регистрирую билет до Сухуми и оказываюсь в одной компании с режиссером Лео Бакрадзе. Он тоже хочет через Сухуми попасть в Тбилиси. У него контракт с американцами на съемки фильма о Грузии. Не о войне. Америке нужны «виды Грузии». Не лететь Бакрадзе не может. И я тоже.

...Наш Ту-154, заполненный пассажирами наполовину, подруливает к сухумскому аэропорту. Аэропорт являет тяжелое зрелище. Тоскливо, вполне какал горят редкие лампочки автономного питания. Мешки с песком заполнили подступы к зданию аэровокзала.

На выходе в город грузинские гвардейцы придирчиво осматривают багаж пассажиров. Мне торопиться некуда, и я пристраиваюсь к гвардейцам.

Их мысли и образ жизни мне знакомы с тех самых пор, когда непокорная гвардия, отказавшая в доверии президенту Гамсахурдиа, ушла на Тбилисское море. Осенью 1991 года я дошла до гвардейцев. В тот день — 25 октября — оппозиционное телевидение впервые пробилось в эфир. В комнате, охраняемой гвардейцами, я смотрела первые кадры протеста вместе с опальным премьер-министром Тенгизом Сигуа. До начала зимней войны оставалось два месяца. И вот снова октябрь. Снова война...

Гвардейцы заканчивают досмотр багажа. Остается нетронутым продолговатый серый ящик. Пассажир отказывается ставить его на просвечивание. Назревает скандал. Наконец хозяин багажа что-то произносит вполголоса, и я вижу, как опускаются руки гвардейцев и суровость на лицах сменяется каким-то странным выражением — сродни молитве, мольбе ли...

Он сказал, что в ящике ребенок. Тело ребенка.

Потом, в глубокой ночи, когда нещадно палили с гор и мальчики возвращались из темноты не то со страхом в глазах, не то с усталостью и досадой, разговор неизменно шел о ребенке, который сейчас заканчивал свой последний путь к отчему дому. Абхаз ли то был, чеченец, армянин, русский ли — никто из нас не помнил. И, похоже, помнить не хотел. «Отлетел ангел, — сказал грузинский мусульманин Ибрагим, возглавлявший оборону аэропорта. — Хоть бы на время прекратили пальбу, пока душа летит». Он так и сказал: душа летит.

Мы все как будто вернулись в другую реальность, где есть дети, мать, отец, где есть счастье и есть смерть, которая переживается по-человечески достойно. Вспомнилось мне грузинское шемицхаде — это обряд, когда родственники извещают соседей, мир о смерти, вошедшей в дом. Кого оповестить сейчас? Кто услышит? Кто содрогнется? Только голос — шепотом: «Там ребенок». И — взмах рукой на серый, обшарпанный продолговатый ящик, стоящий прямо на гильзах. Где мы? Кто мы? Зачем мы?

Вылетаем в Тбилиси в день, когда пала Гагра. Второго октября. Посадка в самолет — кромешный ад. Руководят посадкой мхедрионцы. Мальчики по 17—18 лет определяют, кому ехать, кому — нет. Другой власти в аэропорту нет.

У меня документы липовые. Настоящим пропуском стали три портрета в моем кошельке: премьер-министр Тенгиз Сигуа, министр обороны Тенгиз Китовани. Для интеллектуальных гвардейцев у меня был наготове портрет Мераба Мамардашвили. Если еще добавить, что это обычные газетные вырезки, то мое путешествие по маршруту Сухуми — Тбилиси — Сухуми — Цхинвали покажется чудом.

В Тбилиси я еще захватила эхо кинофестиваля, но в глазах моих стояли старики и дети, делавшие отчаянные попытки ворваться в самолет и спасти свои жизни.

Когда через неделю замаячила возможность улететь в Су-

хуми с отрядом мхедрионцев, я этой возможностью воспользовалась.

В военном штабе аэропорта тщательно проверяется право на вылет в зону войны. С нами на Ту-154 летят иностранные журналисты, представляющие крупнейшие агентства мира. По их настроению понимаю, какова цена информации на Западе. На рассвете они сделали попытку пробиться «аном», но непогода, бушевавшая на перевале, вернула смельчаков в Тбилиси.

Молодая итальянка обращается к дежурному: «Какая есть информация о вылете? Мы кого-то ждем?» Странное впечатление производят эти фразы мирных времен среди автоматов, гранатометов и мальчиков, одетых в военную форму. Через полмесяца я буду возвращаться с другими иностранными журналистами. Когда мы будем часами ждать самолет на Тбилиси, замкнутые пространством какого-то служебного кабинета — единственного места, где можно по-человечески сесть, — таких вопросов уже никто не задаст.

...Итак, после четырех часов ожидания входим на летное поле. Впереди гвардейцы. Их снимают камерами. Много камер. Что удивительно, грузины (одна из самых кинематографических наций в мире!) скорее отрешенно, чем равнодушно, проходят мимо них. Нет, не будет снимков на память. Ни коллективных, ни индивидуальных. Война всего в часе лёта. Меньше часа. Только тут бросается в глаза... нет, не в глаза — бьет в самое сердце мысль: какие они все молодые! Ах, да, вспомнила: «Война гуляет по России, а мы такие молодые»... Неужели это закон всех войн: должны погибнуть молодые? И никуда не деться от правды — война убивает молодых. Хочешь ты это знать или нет. Убивает молодых! Ощущение, что война забирает лучших, отнюдь не заблуждение. Дело не только в лицах погибших, в которые вглядываешься до рези в глазах. Дело в чудовишном отборе, который производит война. Лучшие погибают, а другие, тоже молодые, грабят, мародерствуют и убивают.

Знаю разницу в восприятии цифр на войне и дома перед телевизором: «Погиб один...», «Погибли четверо...» — и продолжаешь пить чай. А если погиб именно ТОТ, с которым только вчера разговаривал... Если помнишь именно ЭТИ глаза, ЭТИ волосы, ЭТОТ голос... И именно ЭТОГО человека — нет?! Почему? По какому праву? Эта мысль впервые обожгла меня еще в той, зимней, войне.

...Ставка командующего войсками Временного правительства Джабы Иоселиани находилась в Менжи. Стояли холодные январские дни. Пальмы сгибались под тяжестью снега. Ни воды, ни тепла, ни света.

Отправляясь на ночлег, я услышала, как юноши окликали друг друга, освещая зажигалками номера своих комнат. «Звиад, Звиад!..» — слышалось громко. Вышел белокурый молодой человек — он, видимо, крепко спал. Он передал товарищам спички и вернулся в свой сон. А через несколько дней, уже в Тбилиси, я слушала по телевидению сведения о погибших в боях под Зугдиди, куда шли мхедрионцы. Среди названных было имя Звиад. «Почему, ну почему ты решила, что это именно он? — утешала меня подруга. — Это очень распространенное грузинское имя...»

Не знаю, не знаю, почему я так решила. Но ведь для кого-то и ТОТ Звиад, который погиб, — это ТЕ глаза, ТЕ волосы, ТОТ голос. Для кого-то это родная плоть. Возможно, ОН — лучшее, что было в чьей-то семье, чьем-то роду, чьем-то дворе... Не потому ли постоянно ловлю себя на особом, неизъяснимом чувстве, которое испытываю при встрече с теми, кого уже имела честь видеть и знать.

Это было и тогда, в Менжи. В комнату, где Джаба Иоселиани, измученный язвой желудка, пил горячее молоко, открылась дверь и вошел Георгий Кенкадзе. Гия, тот самый Гия, который оказался первым, кого я встретила в штабе опальных гвардейцев в октябре 1991 года. Тогда не верилось, что начнется война. Гвардейцы ушли на Тбилисское море. А в ночь на 4 октября правительственные войска били по гвардейцам с воздуха, моря и суши. Гия проснулся от выстрелов, еще ничего не поняв. Подошел к окну. Тут-то и ворвалась трассирующая пуля, пролетев двумя сантиметрами выше головы Гии. Мы долго рассматривали след пули на стене. Первой пули, предназначавшейся лично ему, Георгию Кенкадзе. Отцу двоих детей.

«Видишь, откуда он стрелял?» — показывает Гия. Плещется синее-пресинее Тбилисское море. Вдали огнями мерцает район Глдани. «Там наши братья», — неожиданно говорит Гия. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Не хотел допустить мысли о братоубийственной войне. Не хотел!

А в ночь на 27 января, когда он вошел с танкистами гвардии Тенгиза Китовани в курортный городок Менжи, война всю бушевала. Та самая — братоубийственная. Мы встретились как

брат и сестра. Это правда. Я не вру. Он ринулся ко мне, а в глазах было столько тоски и боли...

Но что-то еще, чему я не могу найти определения. Усталость? Да. И еще что-то... Теперь я знаю, в чем смысл потаенной радости всех встреч на войне. Он очень прост. И однозначен: жив! Жив! Не погиб! И все. В этом — все!

...Первым, кого я встретила на этот раз в Сухуми, был Ибрагим. Тот, кто молился, когда отлетал ангел ребенка, покоившегося в продолговатом сером ящике, стоявшем прямо на гильзах. На этот раз Ибрагим мало разговаривал. Он описал рукой в воздухе круг, но и без этого жеста все было ясно. Железные конструкции аэропорта корежились, пропуская холодный осенний дождь. Аэроплан, прилетевший с гор, сбросил на аэропорт бомбу. Редкие смельчаки, решившие во что бы то ни стало улететь, жались у стойки, над которой топорщилась полуотлетевшая табличка «Справочное». Спрашивать не с кого и нечего. Вопрос, родившись, тут же умирает. Да и о чем спросишь... О чем...

Рядом с медпунктом стоит уберегшийся от пули бьют Владимира Ильича Ленина. Кажется, именно его и не коснулись перемены.

По наивности я полагаю, что в Сухуми мне известно все. Беру на себя роль проводника, отмахнувшись от автобуса, который увозит иностранных журналистов в пресс-центр при штабе грузинских войск. У меня решительно другие планы.

Я должна помочь отцу найти сына. Сына, ставшего солдатом. Переменной участи, как сказала бы режиссер Кира Муратова, я обязана встрече с Шалвой Андгуладзе. Наши места оказались в самолете рядом. Я не преминула спросить, почему он налегке. Оказалось, на сборы не было времени. Поздно вечером его сын Николоз сказал, что записался добровольцем в отряд «Белый Георгий». Тэтри Гиорги — так это звучит по-грузински. Сыну двадцать лет, он учится на четвертом курсе технического университета. Есть еще один сын, ему восемнадцать. Шалва опасается, что и этот уйдет. За плечами Шалвы — Москва, знаменитая Менделеевка. Институт, аспирантура. Научно-техническая элита. Безукоризненный русский язык.

Так вот: утром отец решил, что должен найти сына. Именно от Шалвы Андгуладзе я впервые услышала мысль, которая, как заноза, сидит в моем сердце: «Отцы должны идти первыми. Это мы не спасли мир. Нам и отвечать. Если уж пошла война — воевать только нам».

Я прошу Шалву написать мне в блокнот по-грузински название отряда, в котором его сын. А еще прошу его написать по-грузински «Чвентан арс Гмерти», что означает «Бог с нами». Эмоционально сильно звучала эта фраза в выступлении Эдуарда Шеварднадзе. Андгуладзе медлит. Не совсем разделяет пафос? В самом деле, разве Бог не оставил нас, если мы вот уже который час бредем по промозглому Сухуми в поисках «Белого Георгия»... По дороге много чего происходит. Мы без толку мотаемся по штабу. Никто не знает, где Николоз.

Позже, когда наступит ночь и я буду искать, где преклонить свою буйную головушку, а моего спутника случайно подскокившая машина увезет к Автандилу Иоселиани (грузинская служба безопасности), я пойму, откуда у меня такое чувство, будто все это я уже где-то видела. Больше того, будто об этом много было говорено-переговорено с моими учениками.

Да-да! Фильм Резо Чхеидзе «Отец солдата». Великий фильм о той далекой войне. Как не похож на старого Махарашвили, которого играл Серго Закариадзе, — как не похож на него интеллектуал Шалва Андгуладзе. Он мог быть сыном того самого Годерзи, которого ищет старый грузинский виноградарь на дорогах войны. Если бы Годерзи, сын своего отца, остался жить. Если бы от него родился ребенок...

Мои ученики учились в третьем классе, когда к нам приехал режиссер Резо Чхеидзе. Помнится мне, основной вопрос, который волновал моих десятилетних детей, сводился к одному: как мог *отец переступить через имя сына*, начертанное на мосту, по которому прошли солдаты? Да, среди них был и Георгий Махарашвили. *«Я бы не могла. Нет, нет, если бы было написано имя моего отца, я бы никогда не смогла переступить»*, — говорила Олечка Забурунова. Нас с Ревазом Давидовичем тогда изумило волнение детей по поводу финальной сцены фильма, которая нам казалась естественной и логичной. Маленькие дети с поразительной настойчивостью возвращали нас к финалу, не в силах постичь превращение отца в солдата.

Через семь лет я снова показала фильм повзрослевшим детям. Тот детский вопрос возник с новой силой: *«Известно, что жажда войны заложена в человеческой натуре. Этой жаждой она убивает сама себя. Попав в военный переплет, никто не остается чистым. Истина разума не обязательно в таких условиях будет сильнее войны. В конце концов, отец прошел по имени*

сына. Не стал ли он зависим от сына-солдата? Тогда в чем же наше спасение?» — спрашивала себя и всех нас уже семнадцатилетняя Лиля Кочеткова. Шел 1987 год. Могла ли я тогда даже помыслить, что все эти детские вопросы, казавшиеся такими умозрительными, будут явлены жизнью во весь свой грозный рост?..

В самом деле, в чем наше спасение?

КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ

«ПОСМОТРИ, ЧТО С НАМИ СДЕЛАЛА ЖИЗНЬ...»

— Ты хочешь в Кодорское ущелье? — спросила меня Лиля Леонидзе, родственница классика грузинской литературы Георгия Леонидзе.

— Да, хочу, — сказала я, не подозревая в ту минуту, что могла на всю жизнь остаться в ущелье.

Нас было пятеро. Четверо беженцев из Сухуми и я. Три сестры — Тамара, Этери и Ламара. Возглавлял лихую поездку Павел, хозяин дома, которого нет. Дом горел синим пламенем, когда они бежали из Сухуми в сентябре 93-го года.

До Зугдиди едем поездом ночь. Все пятеро в одном купе. Белье не берем. Экономим деньги. Потом автобусом до Чубери со всеми прелестями сегодняшних автопутешествий. Грузины как-то быстро привыкли к ужесточившимся условиям жизни. Их терпимость к другому человеку не просто сохранилась. Похоже, она стала крепче всех остальных черт национального характера. Отвечать надо тем же, даже если на твою голову падает мешок с мукой. Ты можешь быть уверен, что твой мешок, свалившийся на чью-то голову, не будет встречен ропотом. Жизнь порой невыносима. Иногда встретишься глазами с попутчиком и прочтешь немое: «...Посмотри, что с нами сделала жизнь. Неужели мы стали другими? Что поделаешь, если нам выпало такое испытание. За что-то оно послано нам. За что?!»

Чубери — это Сванетия. Знаменитые сванские башни. Вековые деревья и тишина, сопровождаемая рокотом горных речушек. Пасется скот, прошуршит редкая машина. И снова — тишина. От развилки, где нас высадили, до Чубери километров семь. Вваливаем на себя непомерный груз и медленно движемся к жилью. Мы везем ящик водки, муку, спички, хлеб и прочие

товары, каких нет в Кодорском ущелье. Что знаю я про ущелье? А ничего, кроме того, что осенними непогожими днями 93-го года тысячи женщин, стариков, детей шли через ущелье к Чуберскому перевалу. Шли, гонимые горем, позором и страхом. Я уже видела фильм Миши Чиаурели о событиях тех дней. Горький, мучительный фильм. С того 93-го года жила во мне отчаянная мысль — пройти дорогой беженцев. Вот с беженцами и иду в Кодори...

Еще засветло отыскиваем дом, в котором надеемся заночевать. Огромный зеленый двор, обнесенный оградой, где вместо калитки лестница, чтобы скот не вошел. В доме никого нет. Наконец появляется старуха, согнутая в три погибели. В одной руке палка, в другой — кошелка с инжиром. Она с трудом запрокидывает искрасна-рыжую голову и беззубым ртом смеется. По-детски радуется гостю. Это одна из трех старух, живущих в доме. Я так и не поняла, кто кому кем доводится. Им всем за восемьдесят. К темноте сходятся все: три старухи, сын с невесткой и внук. Последние трое приехали подготовить дом к зиме. Нас одиннадцать человек. Говорят все по-свански. Нижний этаж дома — большое цокольное помещение. Зиму все зимуют здесь. Верхний этаж закрывается. Топчаны с мутаками, печь, земляной, чисто выметенный пол, и единственная одинокая лампочка болтается на длинном шнуре. Вдоль окна деревянный стол с лавками человек на тридцать. Я бухаюсь на топчан и мгновенно засыпаю. Сквозь сон доносится гортанный сванский говор, и странный покой поселяется в душе моей, словно я нашла свою обитель после долгих странствий. Меня будят ночью. Стол готов к трапезе. Это мое первое застолье в Сванетии. Оторваться не могу от старухи, сидящей во главе стола. Это — тамада. Согнутая, но несломленная, Минадора обладает мощным низким голосом. Природа этого голоса такова, что, что бы ни говорила Минадора, ее речь звучит как поэтический текст. Этакий гомеровский гекзаметр. Ей почти девяносто. В прошлом гроза Сванетии. С вечным спутником — пистолетом она скакала по горам и долам, организовывая общее хозяйство. «Бандит хуже меня не будет», — витийствует Минадора. Она курит только «Астру» (папиросу за папиросой). Мечтает о фонарике. Света не бывает часто, и фонарь становится зимой руками и глазами свана. Надо бы привезти Минадоре фонарь. «Нет, уж лучше пистолет», — угадывает мои мысли старуха. «Не бойся. Я зря не выстрелю. Если в лоб попадет пуля, знай, это по делу. Тут родственника

моего убили. Если бы моложе была, бандит получил бы пулю мою. Ну куда двинешься?»

Откуда же это счастье, заполнившее меня всю? Откуда? Откуда ощущение, что я знала этих людей прежде своего рождения и вот только теперь свиделись? Значит, была она, тоска по этому краю, именно этому дому и этому семейству, в котором молодой человек на мой вопрос, что же он тут будет делать зимой, засыпанный снегом, отвечает просто и ясно, как, должно быть, отвечали в прошлом веке: «Защищать стариков буду. Разве этого мало?» Вот так и только так: буду защищать стариков.

Наш пир в разгаре. А Минадора произносит тост, обращенный ко мне: «Я дала бы сейчас отсечь себе палец за возможность говорить на твоём языке и вести стол по обычаям твоего народа». Может, это и есть то, что Пушкин называл днем соединений? День соединения со Сванетией?

...Наутро сгребли вещи и — на дорогу, ожидать автобуса. Все друг другу свои. Проходят дети в школу. Идет молодой учитель, вчерашний десятиклассник. Сосредоточен. Бойся расслабиться. Истории жизни как на ладони. Мераб Чхетиани, житель Чубери: «Девять лет назад здесь был большой завал. Переехал в Дманиси. Доволен. Но могила отца здесь. Тянет. Хочу дом построить. Когда-то здесь делали мебель. Смотрите, какие леса. Работы было много. Сейчас ничего нет. Раньше неделя пройдет, пьяного не увидишь. Видите, «Жигули» туда-сюда по горам скачут? Эти с утра хотят выпить. Общего дела нет. Это плохо... Здесь из Америки были. Что-то выясняли. Потом заглохло. Из России никого не было. Я вижу, вы с людьми идете. Вам их жизнь интересна. Приходите, я много чего вам покажу».

Мельница работает на воде. Дверь открыта для любого. Я набираю в носовой платок смолотую кукурузу, чтобы унести кусочек этого края. Автобус не пришел.

Ранним утром второго дня Минадора приносит большой портер в раме под стеклом. Это ее родной брат. Красивое лицо горца. Облачение сванское. Блестит кинжал. Закро Ансиани был очень известным человеком в Сванетии. Его взяли в тридцать седьмом. Минадора тогда готовилась к свадьбе. Он думал, что вернется через пару месяцев. На свидании сказал: «Ты без меня не выходи замуж. Я скоро приду». Его расстреляли. Минадора замуж не вышла. «Он ведь сказал “я приду”, а сам не пришел». Я что-то пытаюсь понять, но Минадора повторяет: «...сказал “приду”, а не пришел...»

Только позже, в Кодорском ущелье, я пойму, что то, что мы называем фольклором, на самом деле существует не как устное предание. Он может существовать как *способ жизни*. Как тип мышления. Как способ понять и объяснить жизнь.

«Не слабое сердце у меня, — говорит Минадора, — но каждое утро подушка мокрая». И так все шестьдесят лет.

К ночи приходят люди с известием, что накануне машина с полицейскими скатилась в пропасть. Молодые ребята выпрыгнули из машины и попали под колеса. С переломами позвончиков, рук, ног их доставили вертолетом в Тбилиси. Мы надеемся уехать завтра. Мораль ясна: не надо выпрыгивать. Да мне и не выскочить, как я потом пойму.

На третий день снова выходим к дороге. Мы будем выходить до тех пор, пока не явится машина. Потеряв свой дом, беженцы возвращаются в отчий. И нет на свете сил, которые бы их отвернули от намеченной цели. Мы уходим. Последние слова Минадоры: «Чтоб приехала!» Приеду. Даст Бог, приеду, мой друг Минадора.

...Визг Павлуши: «Автобус! Автобус!» Им оказалась грузовая машина «ЗИС-66». Нас с вещами забирают. Подсаживаются попутчики. Как гостя, я занимаю лучшее место в кузове. Вцепилась в железный борт у кабины и стою как столб. Рядом жестяные канистры с бензином, прикрепленные к борту проволокой. При каждом повороте канистры бьют нас по ногам. Никто на это не обращает внимания. Стало быть, и я этого не замечаю.

Дороги на Кодори нет. Есть горы, пропасти, огромные серые валуны. Есть дивный, завораживающий лес, сквозь который машины каждый раз прокладывают новую тропу. Есть странные деревянные мосточки, по которым все-таки проводят свои машины шоферы-камикадзе, шоферы-скалолазы, шоферы-каскадеры. Как хотите их назовите, но это в самом деле мистика, что мы еще живы. Мы еще движемся. На одном из подъемов машина стремительно поползла вниз. Мужчины успевают подложить под колеса валуны. Но дальше надо идти пешком. Полдень. Нешадно палит солнце. Я в кроссовках, куртке, брюках. Мое давление ползет вверх быстрее нашего движения. Странно, куда подевались эмоции? Есть только один-единственный биологический инстинкт: лечь и никогда не вставать. И чтобы все меня оставили в покое. Сложные психические реакции сняты, как снимают рубашку. Может, вот так было и с ними? Я знала, что

они шли, потом ложились на камни и умирали. Те, кто мог идти, проходили мимо. Они ничего не могли поделать. Люди умирали. Иногда кто-то успевал прочесть фамилию на бумажке, приколотой к одежде умершего. Узнавали, нет ли среди умерших соседа. И снова шли. Этери, одна из сестер, протягивает мне сиреневый цветок. Где она его отыскала среди серых глыб? Я бросаю цветок. На красоту душа моя не отзывается. Через полчаса Этери протягивает другой цветок. «Может, этот, Эльвира, лучше?» Мне не стыдно. Каждый шаг — целая жизнь. И вот, когда ты уже со всеми попрощался про себя, что-то в тебе открывается. Совсем новое. Другое. Ты идешь другим человеком. Отчетливо запомнила, что во мне прежде что-то умерло и родилось другое. Мы выходим на вершину. Садимся в грузовик. И становимся почти вровень с горами. Машина врезалась во владения гор.

...Ничего другого в мире нет. Есть только горы. И больше — ничего. Пусть они вечны, а ты смертен (минуту назад последнее стало почти реальностью), но сейчас мы дышим одним воздухом. Мы в одном пространстве. Ты вошел в горный эфир, и с этой самой минуты исчез страх. Плохо тебе или хорошо, не имеет никакого значения. Эти понятия остались по ту сторону границы.

Ежесекундно видишь пропасть, в которую можешь скатиться, но есть что-то еще, неизмеримо большее, чем ты сам. Это что-то дано тебе в эти минуты как ощущение части себя. Не оттого ли гибельность твоего частного существования перед лицом абсолютной красоты, обретшей форму гор, уже не имеет над тобой никакой власти? Надличностное правит тобой, хотя сознание необычайно обострено. Переживание нерасторжимости возможной смерти и предельно явленного чуда Бытия порождает почти физическое чувство отрешенности от всего, что тебя так занимало в этой жизни. Ценности не просто переворачиваются, они безжалостно исчезают, оставив пространство для прекрасного и мучительно высокого напряжения всех сил твоего существа, незнамо откуда взявшихся.

Может, это и есть невыносимая легкость бытия? Я все ждала этого мгновения — «Кавказ подо мною», но его не было нигде, ни в Дарьяльском ущелье, ни в Кодорском. Горы были не просто рядом. Мы существовали с ними в одном пространстве. Их воздух был нашим воздухом. Солнечный луч касался нас одно-

временно почти на одной высоте. И все-таки Они всегда были выше нас. С этим ничего поделать невозможно. А как же Пушкин? — глупо печалюсь я, не найдя возможности занять ту же позицию, что и он. «Знаешь, я думаю, он воспарялся. Мы же не можем с тобой», — успокаивает меня Ламара. И, помолчав, добавляет: «Тебе не хватит бумаги все это описать». Я тоже так думала, а теперь поняла: дело не в бумаге. Она мне не понадобится. У меня просто нет слов, которыми можно было бы хоть приблизительно передать состояние шального отчаяния, сопровождавшего меня все то время, когда до гор было рукой подать. И вспомнился мне мой ученик Илья Максимкин, размышлявший в свое время над национальным характером грузин в кино и литературе. Мы много спорили всем классом. Однажды наши умствования нарушил Илья тихим вопросом: «А может быть, Эльвира Николаевна, все дело в горах... Люди имеют возможность каждый день видеть вечность перед собой. Это не может пройти бесследно. Только одним существованием горы задают другой масштаб, где жизнь — величина переменная, и твоя личная в особенности».

Илюша чувствовал это своей кожей. Он не раз пытался подняться на Белуху в горном Алтае, а потом на уроках тосковал по реальному ощущению головокружительной высоты, где каждый раз обязан был меняться. Иначе и не стоит ходить в горы. И все-таки тайна гор не просто завораживает. Она манит и не отпускает.

...Перед подъемом на Чуберский перевал мы останавливаемся. Ждем, когда спустится машина, идущая из Кодори. Мои попутчики смолкли. Напряженно всматриваются в даль. Потом я пойму смысл этих сосредоточений. Они носят знаковый характер и возникают всякий раз, когда предстоит испытание тебе или кому-то другому. Как будто, застыв в немом молчании, человек добровольно берет на себя часть твоих испытаний. Я уверовала в спасающую силу этих сосредоточений и бесконечно благодарна каждому, кто внутренне собирался перед тем, как мне отправиться в опасный путь. Спасибо вам всем. И тем, кого не знаю по имени, и тем, кого не знаю совсем, но кто жаждал для меня счастливого исхода.

...Между тем машина одолела перевал. Все живы. Мы вздохнули и пошли на высоту. Беженка из Сакени показывает место, где 28 сентября погибли роженица и ее ребенок. Она родила прямо на перевале. Пошел снег, какого никогда не было в такую пору. Замерзли и ребенок, и его мать.

«Сейчас мы уставшие, а тогда мы были униженные», — говорит Павел, для которого (как и для всех остальных) нынешний поход в Кодорское ущелье неотделим от воспаленной памяти сентября 93-го года. На спуск, оказавшийся страшнее подъема, ушло пять часов. Шофер покидает нас в Омаришари. Надо самим добираться до дома. А дом в Генцвиши. Несколько километров по плохой, но дороге. Она прекрасна тем, что с нее можно не сойти. Вот так просто стоять и никуда не упасть. Древнее, утраченное чувство земли возвращается. Дотронься рукой, губами, лбом. Она лежит, одаривая тебя чувством равновесия и спокойствия. Какое это счастье — просто стоять на земле. Мы с сестрами не двигаемся с места. Мы стоим на земле и смеемся. Мы дома.

Генцвиши нас встретил плачем. Плакала Полиска, мать трех сестер. Необычайной красоты восьмидесятилетняя женщина сидела на могиле младшего и самого красивого сына Зураба, тело которого перевезли год назад из Тбилиси. По смертельной дороге сваны перевозят умерших на родовое кладбище. Плач собирает людей. По сванскому обычаю водой окропляют землю.

Кодорское ущелье держится мужчинами. Вот уже четвертый год все мужчины ущелья разбиты на отряды самообороны. Есть штаб в Ажарах. Его возглавляет человек-легенда Нукзар Пангани. Они встали насмерть, когда это им позволили горы. Имеющие только охотничьи ружья, сваны-мужчины стали грозой даже для чеченских отрядов, принимавших участие (чего греха таить!) в кампании изгнания грузин из Сухуми. «Для нации большего позора нет, — говорил мне Давид Пирвели, один из защитников ущелья. — Ты читала об этом в истории? Такое было? Сначала идет армия, бэтээры, бээмпэ, солдаты, а за ними тянется коридор женщин, стариков, детей... Почему армия не замыкает коридор, а открывает его? Ты не знаешь? И я не знаю». И Давид Пирвели плачет.

ПО-НАД ПРОПАСТЬЮ

У могилы Зураба я увидела удивительно красивую молодую женщину. Натуральное золото полудлинных волос, гладкая кожа, не знающая косметики. Только потом я заметила, что юбка в дырах, кофта заштопана, у домашних тапочек отстала подошва. Держалась женщина просто, со сванами на равных, но была в

ней какая-то внутренняя независимость, странно сопряженная со славянской мягкостью, которую ощущаешь сразу при первой встрече. Я обрадовалась, услышав прекрасную русскую речь впервые за неделю пути. Она переводила мне поминальные речи мужчин-сванов, поразив тончайшим пониманием душевных движений тех, кто говорил. Временами, не найдя адекватного русского слова, она вдруг с печалью говорила: «Понимаешь, у нас, русских, нет не только такого слова, у нас нет этого ощущения. Это для нас закрыто». Мы стали друзьями. Дом Светы Ципиани, русской по рождению, пермячки, попавшей в раннем детстве в Сухуми, стал и моим.

У Светы трое детей. Старшую, пятнадцатилетнюю Лику, украла этим летом. Гиони, муж Светы, поднял все село на ноги. Вооружились до зубов. Войны с Омаришари, куда выкрали белокурую русскую красавицу, казалось, не миновать. Но пришла «из плена» записка, написанная рукой Лики явно под диктовку старейшин села. В ней утверждалось, что все будет хорошо. Сердце матери подсказало, что воевать уже не имеет смысла. «Мы с тобой сходим к ним», — тихо говорит Света. «Как? — взрываюсь я. — Они нашу девочку украли. Они наши враги». — «Нет, — говорит Света так же тихо, — это хорошие люди и хороший дом. Они лучшие из тех, кто мог украсть Лику». Света достает фотографии, какие сумела вывезти из Сухуми. Нервно ищет нужную и никак не может найти. Наконец нашла. «Смотри, какие у нее были глаза в восемь лет. В них вся ее судьба и эта летняя история тоже. Значит, так тому и быть». Глаза в самом деле не детские. В них — не затаившаяся драма. Нет-нет, это драма, уже увиденная и схваченная пронзительным открытым детским взором. В доме еще две девочки — первоклассница Лана и четырнадцатилетняя Инна. Большое хозяйство (иначе не проживешь) ведут все. Как в той сибирской деревне, где я учительствовала, каждый в доме знает, что он должен делать. Проследить, не вышла ли свинья в огород, время ли идти за коровой в горы, пора ли готовить для чачи месиво (в длинное жестяное корыто насыпаем ведрами яблоки, груши, долбим тяжелой кувалдой, а потом закладываем в чан закисать), — все делается естественнейшим образом, точно так, как мы пьем, едим, дышим. Ципиани живут в отчем доме. Их квартира в Сухуми разграблена и занята чужими людьми. Я получаю адрес и телефон. Мне не терпится позвонить и узнать, как ощущают себя люди в кругу чужих вещей. Но я этого так и не сделаю, потому что на самом деле я

хочу узнать совсем о другом. Однако это другое не выговаривается — вот в чем мучение. Свету ранили в Сухуми. Бомбили российские самолеты, и русская женщина Света прекрасно это знала. Гиони ушел из города раньше жены, хотя участия в боевых действиях не принимал. Свану оставаться в Сухуми было невозможно. Этот мотив — **я ведь русская!** — сколько же раз он подводил человека, сколько раз он ровным счетом ничего не означал, словно Родина-мать, называющая себя великой и могучей державой, была слепа, глуха и нема, когда раздавались стоны ее детей, гибнущих от пуль, отлитых на просторах родины чудесной.

Света истово верила, что она, русская по крови, отстоит свой дом, что ее не тронут. Ее предали. Она называет армянскую фамилию, но тут же спохватывается: «Только не дай вам бог плохо про армян подумать. Одни меня предали, другие армяне меня спасли. Сначала надо было переправить брата, по отчиму он грузин. Ему была бы крышка. Вывозили тайком, ночью, на «скорой помощи». Потом дошла очередь до меня с детьми. Я уже к тому времени была ранена в плечо. Везли меня как потерпевшую. Лане было четыре года». Но до этого несколько недель пришлось прятаться в платяном шкафу соседки. В это время уже вовсю шли бои в Богатских скалах. В Сочи ее вывезли армяне. Поселили у своих родных. Предлагали остаться. «Что же будем есть?» — спрашивала Света, зная, что сами армяне живут на квартире. «Что мы будем есть, то и ты», — услышала в ответ. Наконец уговорили проводника довести до Москвы за полцены. Ехала с детьми в Пермскую область, на свою родину. Еще в Москве узнала, что Гиони жив. Родина встретила не то что неласково. Пермская деревня жила своей обычной жизнью, и кавказские страсти были от нее так далеки. Мужики пили. Работы не было. «Я могу сказать это только тебе, Эльвира. Я давно не видела русских. Они оказались другими, чем жили в моей памяти. Я никого не виню. Им тоже несладко. Но когда твоя подруга детства, у которой полно кур, не дает твоему ребенку одного яйца, я плохо себя чувствую. На Кавказе такое невозможно. И еще: мужчина-сван не может жить вне своего дома. Гиони приехал к нам. Несколько месяцев промаялся, и я поняла, что покой обрести он может только в доме своего отца. Мы приехали в ущелье. Отец был еще жив. Мы успели за ним походить, когда он болел. В апреле он умер. Похоронили здесь. Мы нищие, но у нас есть свой дом. Это лучшее, что мы можем желать себе в этой

жизни». Света работала в Сухуми гидом. Переводчик с польского. Дети говорят на трех языках. Свято соблюдают в доме все сванские обычаи, некоторые из них Света не разделяет, но не перечит. «Это обычаи народа, к которому принадлежат мой муж и мои дети». Бережно хранит 300 тарелок. Это общие для села тарелки — на поминки или похороны. За три последних года никто не припомнит свадеб.

...Оставляю Лане маленькое полотенце. На следующий день ишу его, чтобы вытереть руки. Оказывается, что еще с вечера Лана свернула полотенце в куклу. Целовала эту куклу и улеглась с ней спать. Досада берет, что с собой мало вещей, которые можно было бы оставить. Башмаки девочек пропускают воду. Что же будет, когда наступят холода?

...Продираемся сквозь дикие заросли к горной речке. Выходим к валунам. Перепрыгиваем с валуна на валун. Другого способа передвижения нет. Я бы уже и остановилась, но Лана и Инна истово верят, что нам будет очень плохо, если мы не найдем то место, где крестил их священник из Тбилиси. Коллективное крещение, полагали взрослые, может уменьшить психическое напряжение, в котором пребывают все дети Кодорского ущелья. Они помнят все до мельчайших подробностей: как чуть не погибла мама, как кружили с воем и грохотом российские самолеты, как потом люди бежали в Кодорское ущелье, бросив свой очаг, как многие не дошли и умерли на дороге. Они помнят события по годам, числам, часам и минутам, как помним мы: «22 июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война». Инна хотела стать певицей. До войны купили пианино. Теперь Инна перебирает вместе со мною фасоль и вслух размышляет, надо ли идти к соседке за клизмой для теленка, который утром оступился. В Инне мучительнейшим образом столкнулись две жизни: та, довоенная, еще имеет власть над ней и противится всему, что ей предлагает новая.

Любимое занятие девочек — ходить на кумед. Это площадка, с которой начинается пропасть. Ходить по-над пропастью — милое дело, оказывается. Наше Генцвиши в горах. Но ощущение замкнутого пространства нет. С горами появляется другое чувство пространства, мне, равнинному жителю, незнакомое. Открывается вертикаль. Все время ловишь себя на том, что смотришь в небо. Неужели именно это имел в виду писатель Юрий Трифонов, сказавший, что в глазах старика-грузина он

увидел мироздание. Тянет вверх из горных теснин. Тянет в мироздание, дающее тебе сверхчувственное (нечувственное) постижение начала бытия.

Впервые столкнулась с явлением культурного голода, или как там еще назвать это состояние. У детей почти нервическая потребность в книге, в картинках, во всем том, что мы называем культурными знаками. «Я тебе покажу замечательную книгу, всю в картинках. Там столько животных, и все разные». Я приготовилась увидеть альбом, но маленькая Лана приносит мне учебник биологии за седьмой класс. Мягкий, ужасающая полиграфия. Обычный наш российский школьный учебник, который в условиях книжного голода играет роль путеводителя в другие миры и пространства. Неужели природа не может компенсировать тяги к этой второй, книжной, знаковой реальности? Какая магия в ней?

В доме учительницы местной школы Дали есть магнитофон и две кассеты. Лана поворачивается к нам спиной и стоит перед магнитофоном, как перед алтарем. Оторвать ее нет никаких сил. Когда это видит Света, она плачет. Сколько же дети недоберут в развитии! Какие пласты культуры закрыты для них надолго, если не навсегда!

А что, если культура таит в себе особый тип сенсорики (в широком смысле слова), без которой какая-то часть нашей души остается невостребованной?

Дурацкая аналогия пришла в голову: Маугли. Ребенок искусственно изымается из культурной среды и помещается в природный мир, который, казалось бы, больше, чем культура, да и мы сами. Но что это за сила, влекущая ребенка к черненьким крючочкам в книге и мутным картинкам с изображением слона и жирафа? Какая сила заставляет ребенка застывать, словно в столбняке, когда он слушает звуки фортепиано и скрипки? Какая? Вот он перед тобой, весь мир, в такой первозданной красоте. Зачем же нужны тебе бумага и краски, чтобы перенести этот мир в собственную картинку? Возможно, тоска ребенка по культурным знакам есть тоска по прошлой жизни. Не знаю, но именно маленькие дети, а не большие, остро переживают культурный голод. Некоторые родители с беспокойством об этом говорят. Мать троих детей в Кугаиси, о чем я позже расскажу, спрашивала меня, не больны ли ее дети, читающие запоем одну и ту же книжку. «Знаешь, они как больные, как сумасшедшие. Читают то, чего совсем не понимают. Лишь бы была книжка. Я пугаюсь,

когда это вижу». Беспомощность родителей перед лицом ребенка, в тысячный раз мусолящего учебник ботаники, невыносима.

Но странное ощущение покоя царит в доме, несмотря на то что нет стирального порошка, нет обуви, зубных щеток, нет той привычной жизни, которая была так прекрасна, несмотря на то что рана не затягивается, с годами саднит все больше и больше. Этот покой, как я потом пойму, побродив по всему Кодорскому ущелью, исходит от любви. Да, да, любви мужа к жене, матери к детям, детей к родителям, снохи к родителям мужа, любви всех к больным, немощным, сирым, глубоким старикам. Никогда в жизни мне этого не увидеть больше в таком не замутненном житейскими мелочами виде. Открытая, явленная, **названная** и бесстрашная любовь, за которую цепляются, как за последний якорь. Ради нее стоит жить. Если точнее, только ею и живы. Витальная, «организменная» сила любви. Только она одна способна удержать от безумия.

...Мы бродили по-над пропастью. Навстречу Гиони, отец девочек. Он идет проведать свою делянку. Она высоко в горах. Горы почти отвесные. Лане семь лет. Она хватает отца за рукав и умоляет взять ее с собой. Гиони колеблется, а потом вдруг с силой произносит: «Я так люблю тебя, что не могу сказать "нет"».

Инна остается со мной у пропасти, а отец с дочерью поднимаются в гору. Осеннее солнце клонится к закату, и мы видим, как тени от идущих ползут в гору, чуть отставая от тех, в кого мы так пристально вглядываемся. Почему-то надо видеть, как люди идут в гору. То они скрываются за деревьями, то появляются в просветах леса. Высоко-высоко-высоко. Потом они превращаются в две маленькие точки, потом сливаются в одну и, наконец, исчезают совсем. В тот момент, когда мы уже ничего не видим, кроме горы, покрытой лесами, Инна произносит: «Она так его любит, что ходит в горы как взрослый человек».

Гоним с Гиони чачу. «Я вот все думаю, как можно сохранить красоту подольше, ну хотя бы лет на пять или десять. Что я должен сделать для Светы?» — не то спрашивает, не то размышляет Гиони. Я включаюсь с дурацкими рецептами, поскольку для меня этой проблемы уже нет. Чем больше я трещу, тем отчетливее понимаю, что мы с Гиони находимся на разных «этажах» разговора о красоте. Для него красота его жены — это самоценность, которую можно противопоставить жестокости мира и жизни. Это единственное, во что он верит. «Как бы ни был сладок сон, слаще всего пробуждение, потому что первое, что я

вижу при пробуждении, — это лицо моей жены». Вот так они и живут...

...Греемся поздним вечером у печки. Вдруг Инна начинает судорожно целовать руку отца. «Если бы вы знали, как я люблю папу...» Света рассказывает, как однажды удалось через военных соединиться с Гиони. Он уже был в Генцвиши. Один. Без семьи. В тот день он находился на позициях. Его вызвали по рации. Он не знал тогда, жива ли Света. «Он плакал на той стороне. И здесь, где была я, плакали все, включая военных. Вы все спрашиваете меня, почему мы отсюда не уезжаем. Я однажды видела сон: над Кодорским ущельем всходило два солнца. Два огромных шара. Для меня и моего народа. Этот сон дал мне надежду. Именно с Кодорского ущелья я вернусь домой, где буду снова чувствовать себя человеком. Ущелье — это наша судьба».

Хозяина дома, куда я приехала с сестрами, зовут Нодар. Ему пятьдесят лет. Похож на Хемингуэя. Моложавое лицо. Седая борода. Дом Нодара в Сухуми сгорел. Он видел, как дом вспыхнул свечкой. Жена Нодара живет с детьми в Мцхете, в каком-то баракишке. Мы привезли с собой весть: родился внук. Его называли Георгием. Когда дед увидит внука и увидит ли — об этом знает только Бог. Здесь все друг другу так или иначе родня. Всего-то несколько фамилий в Генцвиши: Пирвели, Чоплиани, Ципиани, Дзачвиани, Хергиани. Нодар — командир отряда самообороны села. В доме штаб. За первые двое суток здесь перебивало все село. Стол был накрыт круглосуточно. В первый же день Нодар посадил меня напротив и очень сердито предупредил: «Никуда не идешь без сопровождения. Что-нибудь случится, разнесется по всему миру: ах, эти сваны, эти сваны, горные козлы». Я послушалась Нодара, и однажды мне пришлось вспомнить грозное предупреждение командира. Об этом как-нибудь в другой раз, да и то вскользь. Что бы с тобой ни случилось, все уже не имеет значения в сравнении с историями, которые пережили все люди ущелья. Все абсолютно.

На разбитой колымаге меня доставляют в Ажару. Там штаб самообороны. Там — человек-легенда Нукзар Пангани, о котором слагаются песни, стихи. Усадьба Пангани воскресила в моей памяти советские ленты о партизанской борьбе. Только вместо елей и берез стояли пальмы. За широким пнем сидели командиры сельских отрядов. Выработывался новый план защиты ущелья. Мое появление прервало секретную работу. Пангани оказался светловолосым улыбчивым человеком. Отличная русская

речь. Выпускник Ленинградского физического института. Как истинно мужественный человек, Нукзар в ответ на мой вопрос о самом трудном эпизоде борьбы рассмеялся и рассказал, как в первый раз шел с разведывательным заданием, а дойдя до цели, понял, что вернулся туда, откуда вышел. О героизме ни слова, о трудностях — тоже. В тот день перекрывали крышу хижины. Это действительно хижина. Посредине — огромная печка и комната, в которую то и дело входят бородатые самооборонщики. Большой стол с едой. Кто-то приходит, ест, уходит. Приходят новые. И так целый день. Хозяйку хижины зовут Ольга. Родом из Сергиева Посада. Филолог по образованию. С Нукзаром встретились в Сухуми. Там был их дом. Трое детей. Младший, Георгий, родился, когда всюю шла война. Идет бомбежка, а Ольге рожать. Света нет. Нукзар внес в палату генератор. Другие рожали во тьме. Одна от страха не могла разродиться. Умер ребенок, не родившись. «Причем первый», — замечает Ольга. Отношение к миру материальных ценностей такое же, как у многих беженцев. О вещах не любят вспоминать. Ольга так и не могла припомнить ни одной, о которой бы тосковала. Ажара — село. Дети физика и филолога со столичным образованием ходят в сельскую школу. Я спрашиваю Ольгу, не обидно ли ей, что дети не получают хорошего образования. Ольга не сразу понимает меня. «А-а, вы про образование? Сванское? Сельское? Ну и что? Они дети свана. Но не в том соль. Мы ведь все живы, Эльвира. Мог не быть живым мой муж, или я, или кто-то из детей. А мы живы. Все. Вы понимаете, все... Вот у нас есть Андерсен и Бажов. Мама прислала. Нет, ничего не жаль. И страха смерти нет. После прохода через ущелье я ничего не боюсь. Помню, автобус светил фарами, а мы шли, чтобы не сбиться с дороги. Было трудно. Нукзар сказал тогда: “Мы что с тобой, больше других хотим жить?” Такое сразу все расставляет на свои места. Все приобретает свою истинную цену. Теперь я доподлинно знаю, что такое переоценка ценностей. Все, что имело какое-то значение, оказалось прахом и пылью. Причем враз. В национальные конфликты не верю. Это ловушка для политиков...»

Со смехом рассказывает, как наблюдатели ООН разыскивали дом легендарного Пангани:

«— Это дом Пангани?

— Да, это дом Пангани.

— Это дом Пангани?! — в голосе недоверие и ужас при виде избушки на курьих ножках. — А где жена Пангани?

— Я — жена Пангани...

Стою с тохой за спиной. Сапоги сорок второго размера. Жена легенды. Мы, по их представлениям, должны жить в коттедже с бассейном».

Смеется.

Уходят одни люди, приходят другие. Выпиваем за тех, кто ушел на войну и не вернулся. «За тех, кого для нас нет» — так это переводится со сванского.

Среди вновь пришедших обнаруживаю молодого русского врача. Алеша Зверев из Коломенского. Выпускник московского сеченовского мединститута. Работал на Камчатке, в Чернобыле. Есть семья. Однажды к нему подошли грузины и предложили безбедно содержать его семью. Взамен предложили место врача в Кодорском ущелье. Алексей поехал к черту на кулички. Поселился в доме свана. Другой сван отдал дом под больницу. Заработков никаких. Столуется у хозяина. «А мне здесь нравится. Изучаю их обычаи. Нравы. Очень непростой народ, но очень интересный. Кое-как добился вести прием больного один на один. Выгоняю всех. Но в окнах все те же лица. Беда. Приходят с мешком: «Мне положена гуманитарная помощь. Дай лекарства!» Ну не с мешком же идти к врачу. Хотел пробыть один год. Остаюсь на второй. Им здесь без врача нельзя. Болеют часто. Открылись старые болячки, и новые приобретаются так быстро. Долго пребывать в стрессовом состоянии нельзя, а у них вся теперешняя жизнь — стресс».

Я интересуюсь, почему хирург Зверев не войдет в миротворческие силы или Красный Крест — это и деньги даст. «Кто хочет заработать деньги, таким путем не идет. Вы, я надеюсь, тоже не зарабатывать деньги приехали». Это уж точно, не зарабатывать деньги. Алеша принимает меня в своем рабочем кабинете. Отменная чистота и порядок. Измеряет давление. У меня сто восемьдесят на сто. Дает лекарство, и мы расстаемся. Родная русская душа, куда тебя загнало? Вот ведь, оказывается, какой может быть интерес — узнать другой народ. Вся надежда в ущелье на Зверева.

Еще раз мне удалось увидеть Алешу в нашем Генцвиши. Две сестры, которым за восемьдесят, пошли в лес заготавливать дрова. Одна из них, Бабуца, оказалась в расщелине дерева, и, когда оно согнулось, лопнула шейка бедра. Сначала Света услышала плач — «Кто-то умер», — потом определила, что плачут в доме Бабуцы. Мы шли по направлению к плачу. Там уже перебивало

все село. Несли кто сыр, кто мацони, кто водку для компресса. Бензин, чтобы съездить к врачу, собирали по домам по стакану. У кого не было стакана, несли на донышке блюда. Каждый день с детьми мы ходили к Бабуце. Дети знают, что мимо дома больного пройти нельзя. Грузины на самом деле очень ритуальная нация. Поскольку ритуал в крови, он кажется присущим природе грузина. На самом деле всем этим надо овладеть. Дети Светы учат меня, как надо входить в дом, где больной, что следует сказать и чего ни в коем случае делать нельзя.

Назавтра идем в Ажару менять быка на корову. Вечерами лазаем по горам — ищем своих коров. Коровы — скалолазы. Такое увидела впервые. А еще мне показывают гордость Кодорского ущелья — гидроэлектростанцию. Долгое время электричества не было. Отключили, и все тут. Решено было в каждом селе своими силами построить гидроэлектростанции. Мы карабкаемся вверх по горе до того места, где в резервуаре скапливается вода. Потом она с шумом несется в машинное отделение, дверь в которое не заперта на замок. Мы вошли. Изумились хитростям гидростроителей. Потом я спросила у Нодара, почему дверь не на замке. «Вот я так и знал. Вы, Эльвира, как наши сваны. Если дверь закрыта, надо ее взломать, а так — раз открыта, можно и не входить. Но ты молодец, что вошла. Ты видишь этот свет?» На длинном шнуре болтается лампочка — страшный дефицит. Лица сидящих за длинным столом сияют. В Кодорском ущелье есть свет. В каждом селе!

Я не скрываю, что боюсь ехать машиной через перевал. Страх мой возник на следующий день по приезде. Он растет с каждым днем. На чем бог пошлет уехать — неизвестно. На перевале уже «товли модис» — идет снег. Надо спешить. И вдруг мне однажды приходит отчаянная мысль. Это был тот период суток, когда день внезапно сменяется тьмой. Сумерек здесь нет — я с радостью обнаружила отсутствие этих сумеречных вечеров, внушающих мне всегда тревожные мысли. Тьма спускается с гор сразу. Неумолимо. Вся твоя возможная рефлексия кажется ничемушной. Высыпают крупные яркие звезды, светящие там, в небе. А на земле темно, хоть глаз выколи. Света с детьми провожает меня до дома Нодара. Скручивают бумагу в факел. Поджигают. Так мы движемся к дому. А что, если остаться здесь на год? На целый круглый год. Устроиться в школу, учить детей русскому языку и никуда отсюда не уезжать. У меня нет денег, у меня много чего нет... Но все-таки, все-таки... У меня нет того, что

есть у Ольги и Светланы, — способности ни о чем не жалеть, если круто меняется жизнь. Что-то мне мешает круто поменять свою жизнь. Что? Роняю факел и спотыкаюсь больно о валун.

Однажды Гиони сказал: «Ты умрешь, мы не узнаем где. Мы умрем, ты тоже ничего не узнаешь». Эти слова покажутся дикостью только тому, кто не жил в Кодорском ущелье. Я там жила. И понимаю, о чем говорит Гиони. Здесь, в ущелье, не бывает незначущих встреч. Это здесь «и дольше века длится день».

ДЕТИ КОДОРСКОГО УЩЕЛЬЯ

«Это случилось 14 августа. Мы были дома, в Сухуми. Началась страшная стрельба. Зашел корабль в Сухуми, который стал бомбить сам Сухуми и Сухумские районы. Мы боялись и прятались в бомбоубежище. Приехал мой дядя. Посадил нас в машину. Кроме нас было много людей, и поехали в Сухуми. После одного года сражения Сухуми пал. Это случилось все в 1993 году».

Нанули Гулбани. 14 лет

«В этой страшной войне я потеряла самое для меня дорогое — маму. Я ее потеряла, когда был самый сильный момент, и она была мне нужна. Кроме мамы потерялся старший брат. Он воевал и погиб. Он был такой молодой, что не имел ни бороды, ни усов. Совсем молодой ушел защищать свою землю. Это была страшная трагедия в нашей семье. В моем сердце она провела черту. Можно же было сделать так, чтобы не случилась эта страшная война. Наши души растоптаны!»

Майя Гуджеджиани. 13 лет

«Падение Сухуми. 16 сентября 1993 года возобновилась война. 27 сентября в 15.00 Сухуми пал. Мы потеряли Абхазию. Самый теплый город мира был объят пламенем огня и наполнен мертвыми с открытыми глазами. Эти страшные минуты забыть невозможно. Я это не забуду никогда в моей жизни».

Нана Окрашидзе. 15 лет

«Война шла в городе Сухуми. У меня страшно болел зуб. Мама утром повела меня к зубному врачу. Врач меня пожалел. Назвал меня героем, потому что я нахожусь в городе в то время, когда идут бомбежки. Даже если бы умирал, остался бы в Сухуми. Зуб мне вырвали. Мама быстро вывела меня. В это время начали бомбить. Снаряды падали на дома. Мама страшно испугалась. Стара-

лась меня прикрыть, думала, что этим меня закроет, но мы оба дрожали от страха. Я это чувствовал. На улицах лежали мертвые. Дома горели. Меня и маму спас случай. Это самый страшный день в моей жизни».

Леван Пирвели. 15 лет

«Я тогда училась во втором классе, когда началась братоубийственная война между абхазами и грузинами. Это была болезненно придуманная война. До сегодняшнего дня мы не видим конца мучениям людей. Голодные и босые люди разбросаны за пределами своей родины. Мне, беженке, желаемым остаются мой дом и моя школа. Я не воспринимаю своей школу, в которой учусь».

Софико Чаплиани. 11 лет

«В марте 1994 года бомбили села Кодорского ущелья. Папа был на позициях. Мама не знала, где нам спрятаться. Убегали в лес. Много перенесла страха, думала, что жизнь уже закончилась. Поняла, что для врага было все равно, где бомбить и кого бомбить».

Софико Джадшвиани. 13 лет

ВЕНЕРА — МИР КОДОРСКОГО УЩЕЛЬЯ

Учительская школы живет своей жизнью: раздаются учебники, отлаживается расписание, обмениваются впечатлениями учителя о первых уроках. Свой первый в жизни урок проводит Лаша Маргиани. Красивый молодой человек. Черная рубашка. Знак ли траура по брату, которого убили в Сухуми? В Генцвиши Лаша закончил шесть классов. Потом учился в Тбилиси в университете. Физик. Предложили аспирантуру. Отказался. Вернулся в ущелье. Решил жизнь посвятить кодорским детям. «Если не я, то кто? Мой путь здесь», — сказал твердо. «Другого пути разве нет помочь детям?» — спрашиваю. «Видимо, есть, но не для меня. Сейчас я нужен детям. Семья? Женюсь на сванке... Война — худшее, что придумало человечество. Но если ты защищаешь свой дом, для тебя остается только один путь — воевать». На мой вопрос, о чем он говорит с детьми, Лаша отвечает: «Обо всем. Им интересно все». Инна, дочь моей подруги Светы, говорила, что Лаша старается их рассмешить на уроке. Пока не совсем получается. «Но мы, наверное, будем смеяться», — не то спрашивает, не то утверждает Инна. Старшее поколение учите-

лей гщится постичь причины братоубийственной войны — войну грузин с абхазами называют только так. Тамара Пирвели — географ. Работала с абхазами в одной школе. «Знаете, о чем я постоянно думаю? Почему не сработали ни наши родственные связи, ни наша вековая близость? Почему ненависть оказалась сильнее? И откуда она взялась?» Абхазский руководитель Ардзинба для многих учителей был преподавателем. «Я бы спросила его, куда он собирается вести свой народ? Мне трудно поверить, что один человек может перевернуть мир. Что же с нами произошло? Язык не поворачивается проклинать абхазов. Они — часть меня и моей жизни. А наши дети их воспринимают как врагов. С этим уже ничего поделаться нельзя». В середине своего монолога Тамара несколько раз произносила одну фразу: «Никогда Россия не потеряет своих интересов на грузинской земле. Христиане же мы. Христиане».

Тамара шла из Сухуми в ущелье. Хочет забыть все, что видела. Забыть не может. В доме ее родителей жили беженцы. «Дверцу духовки открыть не могла. Так все было забито. Пекли хлеб сутками. Однажды ночью привезли пятимесячного младенца. Молоко у матери пропало. Ребенок зашелся в обмороке. Мы видим, он умирает. Одна старуха сделала ванночку, золовка вытащила язычок ребенка, и мы влили ему манную кашу. Господи! Кто мацони несет, кто кукурузу. Смех и грех. Ребенок уснул. Мы боялись, что он умрет. Наутро смеется. Вот она, сила жизни какая... А еще почему-то запомнился мне один случай смерти, ведь умирали же многие. Это был мужчина. Мой ровесник. Он прислонился к зеленой сосне. Я думала, он спит. Он был мертв. Интересно, был ли такой случай в истории, как наш... Спасибо Украине, ее вертолеты появились первыми. У меня слабая надежда, что будет как прежде. У детей этой надежды нет. Россия вела двойную игру. Помню, как появились российские СУ. Шары повесили — это дымовая шашка. Значит, сейчас бомбить начнут. Деда (мама)! Какой страх на меня напал, я же с детьми. Когда Лата пала, «Останкино» передавало, что идут бандитские формирования. А это шли наши парни. Какие же мы бандиты, если мы на своей земле? Когда в Чечне началась война, я плакала. Жалко восемнадцатилетних мальчиков. Их-то за что?.. На перевале чуть не погибла. Упала в обморок. Душа горит и обмирает. Куда же мы катимся? Не будет ни грузинского, ни абхазского народов. Разве нас так много на этом свете? А на тот вопрос я ответа найти не могу. Как это — сосед на соседа пошел

войной?» Тамара делает паузу и вслух договаривает остаток мысли, которая шла вторым планом во внутренней речи: «Наши тоже виноваты: поменьше гонора надо было иметь». Покаянный мотив много раз возникал и в речах других людей. Это драгоценное качество, надо сказать, когда говорящий сидит у разбитого корыта, вдали от разрушенного дома, а душа горит от горя и ужаса.

Ценнейшее свойство народа и залог его возрождения.

Позже, уже в Тбилиси, я встречусь еще с одной учительницей из Кодорского ущелья. Героическая, бесстрашная женщина Венера Чоплиани. Директор школы в местечке Дранда. Я спросила Венеру, как она встретится с абхазами после войны. «Спокойно. В дело вмешалась третья сила. Абхазы были всегда моей поддержкой и опорой. Война с абхазами — гром среди ясного неба». Это правда, что Венера возила оружие для сванов в своем автомобиле? «Что ты, Эльвира, я мир Кодорского ущелья. Какое оружие? Теперь я вожу спички, муку, солярку». Я свободно могу представить Венеру с оружием в руках — столько в ней силы и страсти. «Что ты, что ты! Стреляет слабый, а не сильный».

Я верю тебе, Венера, что ты — мир Кодорского ущелья. Дай тебе Бог силы. Дай Бог!

Так как же быть с детьми, для которых их бывший сосед — враг? Как быть с детской памятью, которая ничего не может забыть? Ничего!

ПРОВОДЫ

Я уезжаю. Один из братьев трех сестер, тоже беженец, перевозит свой старый «жигуленок» 1972 года выпуска на грузовой машине в Тбилиси. Сам «жигуленок» не передвигается. Его привязывают лебедкой к переднему борту «ЗИС-66», задний борт открыт. Отъезжающие должны сесть внутрь машины. Значит, свидание с мтэби отменяется. Мтэби — это по-свански горы. Едем с Резо Кванчиани, красавцем из города Кутаиси. Накануне он привез из Тбилиси пять гробов. Поминки справляли всем селом в доме одного из Чоплиани. Резо — беженец. У него трое маленьких детей. Дом сожгли. Привычки яркой сухумской жизни остались. Резо — пижон. Какая разница, если вместо сервизной тарелки пластмассовая? Он будет есть так, как ел в **той жизни**. Поведенческие реакции той жизни — как вызов новой. Резо никогда не смирится с потерей своего дома. Это про него его

жена Дали скажет: «Сердце у него там, в Абхазии». Он один из тех шоферов, которых называют каскадерами. От шутника, балагура, весельчака, души сванского застолья наутро не осталось и следа. Резо был сосредоточен и строг. Я заметила, есть народы, у которых быстрота смены типа поведения бывает столь ошеломительной, что иногда эта смена происходит в одном акте. Поэтому часто попадаешь впросак: ты уже сумел соответствующим образом подстроиться к реакции своего соседа, а через минуту перед тобой совсем другой человек, с иной эмоциональной амплитудой. Интересно, что стоит за этим поведенческим даром? Темперамент, национальная ментальность или другие особенности психологического склада, но одно очевидно — от российской беспечности следует отказаться и быть готовой к иному повороту событий, определенному сменой поведенческой стратегии, как сказал бы психолог.

...Проводы через перевал — ритуал особый. Все стоят молча. Лишних слов не произносит никто. Молчание создает особой силы напряжение, которое разряжается либо плачем ребенка, либо лаем собак. Мужчины пристально следят за тем, как идет погрузка, как закрепляются борта. С раннего утра в доме толпятся соседи. Первыми пришли Света с Гиони и детьми. Дети протягивают мне бумажку. Это молитва. Она должна оберечь меня в дороге. «Мы с ней шли через Сухуми», — говорит Света. Разворачиваю бумажку. В ней два предложения: «Я спасена от страха. Иисус спас меня от страха». Боже ты мой! Это ведь чистой воды заклинание. И этот совершенный вид: спасен, спасена! Спасение от страха как свершившийся акт. Господи! Как же им было тяжело среди бомб и налетов... Чего я-то боюсь? Чего?

...Пришла на проводы Марина Георгадзе с ребенком. Ее родня едет вместе с нами в «жигуленке». История Марины трагична, как тысячи других. Она вышла с мужем из дома 29 сентября 93-го года. Хотели добраться до Очамчира. Марина была на сносях — семь месяцев беременности. Он все говорил ей, муж молодой, ждавший первенца: «У тебя ноги опухли. Не иди так быстро». Метрах в двухстах от них завязалась перестрелка. Муж бросился на защиту своих. С тех самых пор Марина ничего не знает о своем муже. Пришлось прятаться. Пятнадцать дней провела в лесу. 24 октября оказалась в Хоби, что в Западной Грузии. Родила сына. «Я все время держала руку на животе. Не знаю почему. Вспомнить не могу. Но хорошо помню этот жест. Какого Бог дал мне ребенка! Когда родила, был холод, дождь, ничего

не замечала. Самое трудное даже не смерть, а когда ждешь. Чего ждешь? Прошли слухи, что он в плену в Очамчире. Разные слухи. Но знаешь, что самое страшное — если он умер, он так и не узнал, что у него родился такой красивый мальчик. Георгий».

Отец Марины остался в селе. Прошел слух, что его убили. Однажды отец вошел в дом — дочь чуть с ума не сошла. Марина надеется, что я помогу ей добыть сведения о муже. Вспоминает абхазские фамилии. Аршба Сергей, муж тети Этери, еще имена, фамилии абхазов, с которыми Марина в родстве. Враги ли абхазы? — «Нет! Нет! Мы еще будем нужны друг другу. Если бы они знали, как мне трудно, они бы помогли. Может, мы и стали такими оттого, что рядом с абхазами жили. Очень теплый народ».

И только тут до меня доходит, что в этих локальных войнах разрушились тончайшие социоэтнокультурные образования. Грузин, живущий по соседству с абхазом, армянин, живущий в Баку, армянин, живущий рядом с абхазом... Какие сложные духовные нити связывали их друг с другом, как видоизменялись этнические черты, наполняясь новым содержанием от пребывания в одном времени и пространстве с другим народом. Тоска по Абхазии, как это ни покажется странным, — это не только тоска по морю и пальмам. Это тоска по совместной жизни с теплым народом, абхазами. Как знать, не здесь ли, в этих новых этнообразованиях, рождалось нечто важное для коренной нации, которая обогащала себя, имея возможность постоянно всматриваться в зеркало другой нации. Юрий Михайлович Лотман разработал концепцию перемещения ядра к границам, где происходит рождение нового явления в силу столкновения с чужой моделью. А что, если это распространяется не только на явления культуры, но и на жизнь этносов? Какие же мощные новообразования разрушены войной, какие каналы духовного обогащения нации перекрыты, если она лишена «пограничных» контактов. В этой поездке я иначе взглянула на то, что мы называли уничижительно имперским русским языком, тем самым русским языком, на котором в Сухуми общались люди десятков национальностей. Он действительно выполнял культурную функцию. Без этого языка Сухуми представить невозможно. «Уж не за это ли нас бомбили российские самолеты?» — спрашивает меня грузинка из Сухуми. Не знаю, за что, но *Россия воевала не только в Абхазии. Она воевала на всем постсоветском пространстве. И, возможно, это самая горькая правда, которую я вынесла из «горячих точек».*

...Все в порядке. Мы сейчас тронемся в путь. Я вслух произношу заклинание. Одна мысль, что я никогда не увижу Свету, повергает меня в панику. Я нервно лезу в сумку, привязанную к бортам тросами. Ощупью нахожу свою новую кофту, купленную на грузинской базробе, и бросаю ее Свете с грузовика. «Она вам так шла», — плачет Света. Кофта попадает в руки Гиони, и мне кажется, я слышу все то же: «Мы никогда не узнаем, где ты умрешь, ты никогда не узнаешь, где умрем мы». Тихо плачут все, и восьмидесятилетняя глава дома Полиска, мать сестер и братьев, и молодая учительница Дали, и другие. Отчаянным лаем заливаются собаки. Мы покидаем Генцвиши, где я прожила целую жизнь, полную страхов, страданий, восторгов и ослепительной красоты. Нигде я не была так близко к звездам, как в Кодорском ущелье.

* * *

А еще я увожу с собой энергичную сванскую фразу: «Вариант мамли» — варианта нет, — так это звучит по-русски. Неужели в самом деле нет? Не может быть!

* * *

Дорога на этот раз была страшнее. Пришлось ее мостить в буквальном смысле этого слова. Валун к валуну и — сдвинулись. Пребывание в замкнутом пространстве «жигуленка» в течение четырнадцати часов — суровое испытание для психики. Со мной в кабине старик Акакий, дрожащий над мешком грецких орехов, две грузинки с пятилетним ребенком. Женщины по-русски не говорят. Такое я встретила впервые в жизни, но всю дорогу звучали одни и те же вопросы про «руссети!» «Не хочет ли русская есть?» Акакий не успевал переводить волнения грузинок по поводу моего существования, а пятилетний Георгий стоически вынес дорогу, ни разу не хныкнув. Это не первое его путешествие в Кодори к дедушке и бабушке. Иногда машина сползала по кузову вниз, и мы орали, как черти. Никто не хотел умирать. До Чубери добрались ночью. Я попадаю в жилище беженцев. Фанерные постройки. Все собрались у телевизора. Это было 21 сентября. По первой программе шла беседа Эльдара Рязанова с Зиновием Гердтом. Подстриженные газоны. Распустившиеся деревья. Плетеные кресла. Рязанов спрашивает, доволен ли Гердт наступившими переменами. Гердт отвечает «да». А у нас под

ногами болтаются чьи-то многочисленные малые дети. Взрослые словно в сомнамбулическом сне. Вперились глазами в программу ОРТ, потеряв ощущение времени и пространства, в котором находятся герои телепередачи. Никто не понимает, о чем разговор. Я ловлю себя на том, что и сама начинаю не понимать, о чем так мило беседуют эти господа, будто из научно-фантастического сериала. И вспомнилось мне письмо моего любимого ученика Мишки Юданина, отчаянного борца за правое дело. Себя он открыто считал последователем Галича, Сахарова, Солженицына. Это его чуть не арестовали на почте, когда он давал телеграмму в Тбилиси на имя режиссера Эльдара Шенгелая: «Амиран разорвет крылья, и Грузия станет свободной». На почте это сочли за шифр. А потом его избил майор Тараскин у памятника вождю мирового пролетариата в день политзаключенных. Майор пообещал в следующий раз отбить почки. Началось следственное дело в КГБ. Следователь Бахирев допрашивал четырех шестнадцатилетних мальчиков как членов тайной организации. Бывало, ведешь урок, а дверь открывается и раздастся: «Юданина к следователю!» Класс взрывается от смеха. Но там, в кабинете следователя, в натуральных подвалах КГБ, детям было не до смеха. Шел, надо сказать, шестой год демократических преобразований в стране. Родители увезли Мишу в Израиль. Накануне отъезда четверо закадычных друзей завалились ко мне домой. Они знали друг друга с детства. «Как я люблю тебя!» — говорили они друг другу открытым текстом. Они плакали, потому что знали, что расстанутся навсегда. Только в эту ночь я поняла, почему они так любили «Маленькую печальную повесть» Виктора Некрасова. Историю некрасовских друзей они повторили на новом витке своего возлюбленного отечества, как сказал бы Бродский.

Шумно выйдя из подъезда моего дома в первом часу ночи, они стали добычей милиции, которая только с такими мальчиками и «молодца!». Когда их скрутили милиционеры, Миша Юданин заорал во всю мочь: «Берите меня! Сажайте на пятнадцать суток. Мой отъезд в Израиль отменяется». Миша уехал. За ним последовал отъезд еще двоих друзей в католический колледж в Польшу. Родители спасали своих детей, как могли.

Так вот, нешуточный борец с тоталитарным режимом Миша написал мне длинное письмо из Израйля в ответ на мой рассказ о грузино-абхазской войне. А рассказывала я ему об одной девочке-грузинке, которую бандиты хотели подстрелить, как птич-

ку. Миша теперь считал, что лучше бы продолжалось то время, которому он противился. «Сидели бы себе диссиденты в тюрьме. Мы бы с Вами не прочли Набокова. Генсек бы водружал на свою немощную грудь тридцатый орден, но был бы жив старик, которого убили ни за что ни про что. Не сходили бы с ума матери от горя, и ваша грузинская девочка не плутала бы сутками в лесу, боясь возвращения в дом».

...Я иду ночевать к старой женщине по имени Хатуна. Она перенесла переход через перевал в 93-м году. У нее сгорел дом. От горя умер муж. Лицо поразил паралич. Хатуна в черных очках. Когда она сняла на ночь очки, я увидела вывернутый глаз. Хатуна рада, что ночь мы будем вместе. Она одна из тех, кто во власти автоматизма, болезни, описанной в свое время Карлом Юнгом. Дело в том, что продолжают действовать прежние автоматические реакции. Новые же способы действия, которые были бы адекватны обстоятельствам, не вырабатываются. Несовпадение прежних автоматических реакций с новой ситуацией порождает странный паралич воли, видимый невооруженным глазом. Человек существует без желаний, надежд, без адекватной реакции на происходящее. Не все беженцы таковы. Далеко не все. Некоторые, наоборот, развивают гиперактивность, чтобы создать для себя и окружающих ощущение новой жизни. Хатуна упорно ищет постельное белье, которого нет. Судорожно достает кружку для чая, которого тоже нет. Наконец оставляет поиски и, словно окаменев, садится на постель. Все! Больше ничего нет! Ничего! Есть только горе. Одно голимое горе и непрерывно дергающийся глаз, прикрытый черным стеклом.

Я бухаюсь на топчан и целую ночь слушаю рассказ старой женщины о том, о чем может рассказать каждый. За что? Почему?

...Ты прав, Миша, пусть бы то время длилось, и у Хатуны был бы свой дом и семья, которой теперь нет. Я не хочу таких перемен. Не хочу. И стыжусь.

* * *

Прибыли в Кутаиси. На автобус не спешу. Сегодня день рождения нашего шофера Резо Кванчиани. Круглая дата. Сорок лет. Большая семья Резо захватила несколько комнат полуразрушенной пятиэтажки на окраинном пустыре Кутаиси. Воды нет. Туалета тоже. Под отхожее место используются развалины какого-то строительного монстра. Указания на мужское и женское нет. Бетонные плиты в жилище обнажены. Сквозь расщелины дует

осенний ветер, который становится холоднее, когда попадает в царство бетона. Здесь же, в той части, где здание сохранилось, полным ходом идут отделочные работы. Ходят слухи, что весь дом отойдет не то таможене, не то какой-то фирме. Поздним вечером со свекровью Резо мы совершаем дерзкую экскурсию по строительству. Прекрасные потолки. Полы. Двери. Оконные рамы. Есть у беженца такой поствоенный синдром, разрушительная сила которого очень велика: пока было несчастье, все казались в равном положении. Наступает мир, и все неравенства, которые в обычной жизни воспринимались как некая естественная данность, теперь приносят глубочайшие нравственные страдания. Беженец может смириться с потерей дома, но он никак не может и не хочет понять, почему его дети голодают, не имеют учебников, а рядом строятся особняки, коттеджи, словно в мире не было никакой войны и никто не умирал. Обида на Родину-мать, которая допускает такую несправедливость, одинакова что у беженцев Мардакерта (Нагорный Карабах), что в Чубери (Грузия). Несть числа гневным порывам, которые сотрясают и без того неустойчивое психическое состояние. Как откликнется гнев, накапливаемый ежедневно, никто не знает. Здесь, в Кутаиси, я видела молодых людей — беженцев с болезнями, вынесенными из войны. Они пока тихо сидят в своих каморках, не имея ни работы, ни пособий, ни медицинской помощи. А рядом, всего в двух шагах, обшиваются дорогим деревом какие-то кабинеты, и нет чтобы хоть что-то сделать для детей, стыдящихся идти в школу, если нет обуви.

Дали, жена Резо, греет воду. На цементный пол ставит таз и поочередно моет троих детей: Дато — 10 лет, Аснат — 9 лет и Кахе — 5 лет. Мыть надо быстро, чтобы вода не успела остыть. Потом втроем дети забираются на постель, прикрываются тем, что было когда-то одеялом, а Дали тщательно разглаживает школьные формы и развешивает белые банты, словно и вправду ничего в этой жизни не случилось. Потом, позже я узнаю, почему спокойствие Дали.

...Зачем же я попросила Дали нарисовать их дом в Лата? За это принялись все дети. Дато нервничал, когда на рисунке мамы не увидел садовых дорожек. «Они же были. Были... Я ходил по ним», — всхлипывал ребенок. Видеть мать с детьми, воспроизводящих свой дом на клочке бумаги, слышать, как обсуждают дети обжитые уголки того, что называлось родным очагом, — картина не для слаонервных. Я все никак не могла свести кон-

цы с концами в рассказе Дали, пока не поняла, что, уже уйдя из Лат, они всей семьей вернулись в свой дом. Зачем? Это было опасно. Могли убить. «А это же наш дом. Тянуло. Понимаешь, хотелось увидеть...» — «Но ведь опасно?» — «Да, опасно. Очень. Домой хотелось». И бесполезно спрашивать дальше. Бесполезно и стыдно. Почему-то из всей войны Дали вспомнилась одна глупейшая деталь. Вот торчит она в мозгу — и все тут! Бомбили рынок. В руках у Дали груша, которую надкусить невозможно. Такая твердая. Открыла дверцу машины, чтобы скрыться от пуль. Позже обнаружила, что из руки что-то течет. Это текла груша, сжатая Дали с такой силой, о которой она даже не подозревала. «Какое поведение бывает, а? Почему не бросила грушу? Почему сжала ее? Ничего не помню». Пугало поведение Аснат. Долгое время она не могла говорить. Откроет рот, а язык западает. Думала, так и останется.

У многих маленьких детей существуют навязчивые представления, которые мучают их, не дают спокойно спать. Ну, например, младший, Каха, мучительно помнит, что поставил свою машинку в гараж непомытой: «Мама, когда мы вернемся, я вымою машину? Она будет стоять в гараже?» Это похоже на эффект прерванного действия, описанный в психологии. Разница лишь в том, что действие прерывает не экспериментатор, а война, и прерванное действие становится не фактом памяти, а фактом болезненного состояния ребенка.

«Мыслей о вещах не было. Лишь бы выжить. Но когда начали жить новой жизнью, ловишь себя на том, что того нет под рукой, другого нет. У меня от той жизни сильные привычки остались. Отсутствие ложки, которая должна привычно быть под рукой, доставляло страдания. Начинаю что-нибудь делать, и все превращается в хаос. Голову под подушку, чтобы не испугать детей, и — дикая истерика. Потом сама себя уговариваю. Надо ведь жить и утешаться тем, что есть. В этой жизни, где всего не хватает, должен быть свой порядок. Иначе — конец». Я заметила, как многие женщины-беженки с особым педантизмом соблюдают порядок. Он не дает им сойти с ума, как я понимаю. На нем крепится слабое душевное равновесие, готовое нарушиться в любую секунду.

...Взрослые готовят стол. Мы с детьми играем в игры. Русский язык старшим ребенком забывается, младший не знает вовсе. В учебнике русского языка обнаруживаю единственный поэтический шедевр:

Курица-красавица
У меня была.
Ах, какая умница
Курица была.

В учебнике — ни Пушкина, ни Лермонтова. С великой Россией у маленьких детей связаны шаровые бомбы, вой российских СУ и вот эта курица, которая была умница. И больше ничего!

Мы выучиваем этот текст наизусть и с его помощью быстро научаемся передавать друг другу невербальную информацию. Эта игра увлекает нас, потому что избавляет от необходимости называть вещи своими именами. Так нам безопаснее. И все-таки я однажды решаюсь прорваться в запретную зону и спрашиваю Дато напрямую, почему он здесь, в этой комнате. «Нас выгнали абхазы». — «А что нужно делать, чтобы был мир?» — «Надо всех убивать», — говорит Дато с интонацией, уже где-то мной слышанной. Все! Вспомнила! Это интонации и глаза Ивана из фильма Тарковского «Иваново детство». Каков был финал? Страшно вспомнить. Ничего, кроме чувства вины перед этим постаревшим ребенком, у меня нет. И досады на то, что я вышла за рамки «поэтического шедевра».

...А за столом, где взрослые, естественным образом возникает наша бывшая Родина. С Москвой, которую любят все, с Питером, в котором многие бывали. Наши общие песни, наши общие темы и наши общие вожди, будь они трижды неладны. И общий русский язык, которым владеют все. Благодаря языку и прожитой общей жизни мы все еще братья, как это ни покажется странным. Да, да! Резо — мой брат. Дали — сестра моя. Моя сестра. С таким ощущением возвращаюсь в Тбилиси.

«НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ В СТОЛОВОЙ ДЛЯ БЕДНЫХ»¹

«Видите, как я вырядилась? Похожа на амазонку? А может, на какаду... Да, да, азиатский какаду... желтенький такой... Нет, нет, только не новозеландский. Тот самый скромный. Он серый и похож на чиновника. Да, я сейчас в джунглях ищу какаду». Светлане около семидесяти. Высокая. Худая. Два редких передних зуба почти впиваются в нижнюю губу. Веки ярко-голубого

¹ Из стихов Инны Савельевой.

цвета. Из глубоких глазниц озорно смотрят карие глаза. Элегантная маленькая шляпка существует как бы отдельно от костюма. На узкие джинсовые брюки падает желтая кисея. Она вихрится вокруг длинной тонкой фигуры, едва поспевая за быстрыми движениями своей хозяйки. А еще Светочка — талисман для всех, кто собрался под знамена американской Армии спасения. Столовая от этой Армии находится на Московском проспекте. Звучит горько и почти издевательски. Москва забыла напрочь о своих людях, сирых и голодных.

На Московский проспект за обедом иду,
Согреваю себя на ходу,
И, пройдя километров шесть-семь,
На обратном пути согреваюсь совсем —

это уже фольклор посетителей столовой для бедных. А еще на Московском проспекте, рядом со столовой, есть одна комнатка, в которой вы подробно узнаете об Армии спасения. Здесь можно посидеть после обеда, поговорить с духовными единомышленниками, как себя называют посетители. Одним словом, это салон. Салон для бедных.

Светочка — хозяйка салона.

День выдался холодный. С утра не было электричества. Столовая не работает. Но многие пришли. Потому что ходить больше некуда. Большинство из тех, кто остался в Грузии после распада Союза, оказались отрезанными от своих родных, детей, братьев, внуков. Ощущение, что они заложники чудовишной политики. Они не могут уехать к детям, потому что им не одолеть дороги. Многие подсчитали, что на пути к детям надо пять—семь раз пересечь границу. Квартиры обитателей столовой для бедных находятся не в лучших районах Тбилиси. Если ты получаешь российское гражданство, то теряешь право на квартиру, денег не хватит преодолеть таможенные посты (это я усвоила на собственной шкуре). Но есть еще одна причина, по которой никто не двигается с места, — боязнь, что будет еще хуже. Тбилиси — город теплый, и народ здесь теплый. Инне Савельевой семьдесят лет. Она верит, что ей не даст умереть с голоду соседка — тбилисская армянка. «Иногда перепадает тарелка супа. Очень хорошего».

Орешинной Анастасии Максимовне девяносто два года. Прехорошенькая женщина, которая никогда не станет старухой.

«Напишите о ней, — просит Светочка, — это наш человеческий антиквариат». Живет Анастасия одна. Муж погиб в годы войны. Оказалась моей землячкой. Когда-то жила на Береговой улице в Новосибирске. «Все утекло», — странно спокойно говорит Орешина. И не поймешь, к чему относится это замечание: ко времени, жизни, надеждам, людям? Сорок лет Анастасия Максимовна не покупает себе вещей. Продать нечего. Уехать не на что и не к кому. Под глазом огромный синяк. Не одолела дороги. Упала на Московском проспекте на пути к столовой. «Не дай господь прийти вам к моменту раздачи, — говорит повар Альберт Овакимов, — лица изможденные, руки трясутся, ноги ослабевают. Интересно, так было в войну?» — спрашивает меня по молодости своих лет.

...Талалаева Валентина Ивановна живет в сарае. «Люди коренной нации» выжили ее из квартиры. Боится, что заберут и сарай. Говорят, что есть где-то юрист, который отстаивает права русскоговорящих, но денег доехать до места обитания адвоката нет. Валечка дарит мне сшитую из тряпок сову. «Она принесет вам счастье». — «А вам?» — «Мне уже ничего не надо».

...Отставнова Надежда Ивановна. 67 лет. Из них ровно пятьдесят непрерывного труда на вредных производствах Грузии. Была ранена в глаз. Осталось частичное зрение. Ехать не к кому.

...Богданова Лиля Викторовна. Недавно лишилась последнего родственника. Погибла родная сестра. Выбросилась из окна. Нервы Лилечки оголены. Пишет стихи. Читать не дала. Скрытая от людских глаз драма живет своей жизнью, не давая возможности приспособиться к сегодняшнему дню. Хотя нет-нет! — это ведь Лилечка рассказывала всем нам, что горячий утюг можно использовать как сковородку, чтобы приготовить яичницу. «Если вы можете купить яйцо», — добавляет соседка. В салоне делятся опытом выживания.

...Захарян Тамара Михайловна — русская. Муж армянин. Есть дети в белорусском городе Лида и соседнем Ереване. Из Белоруссии дети не могут послать ни денег, ни посылки. Они действительно все в капкане, как кто-то обмолвился. Помощи от Родины не ждут. Все надежды на американскую Армию спасения. Великая Америка дает тарелку постного супа с плавающими рисинками или лапшой. Иногда бывает каша. Недавно отменили хлеб, и это самая большая печаль. Сами посетители столовой хлеб купить не могут.

...Анна Петровна Медведева из Воронежа. Пришла с пяти-

летним внуком Володей, который протопал семь километров, чтобы съесть кашу. Каши нет. Володя хнычет. Бабушка больше всего боится возвращения домой, где супа ждут сын и невестка. Дипломированные специалисты без работы.

...Приходит необычайной красоты женщина. Высокая. Огромные печальные глаза. Опирается на палку. Стать актрисы-примы. Она не растворяется в толпе. Держится особняком. «Если будет в настроении, споет “Журавли” на венгерском языке», — шепчет мне певунья Тамара Захарян. Настроение есть. Мы слушаем классное пение. Глубокое контральто. Богатейшая певческая техника, хотя голос садится. Вероника, так назовем певицу, не то что не приспособилась к новой жизни. Она пока не в состоянии даже понять, что же произошло, что случилось в жизни вообще и ее жизни в частности. Она похожа на грузинку. Оказалась украинкой. Прекрасный грузинский язык, в отличие от многих обитателей салона для бедных. Меня заметила своим пронзительным взором сразу: «Эта хорошенькая, наша новая?» — обратилась ко мне в третьем лице. Открытые порывы рассказать про жизнь гасились каким-то упадком духа, словно Веронике не хватало физических сил свой пафос озвучить до конца. Позже приступы откровения объяснила сама: «Я очень быстро привязываюсь. Страдаю, когда связь заканчивается. Вот и вы. Так хочется рассказать вам все и быть с вами, но ведь вы уедете. Зачем же тогда?» Не попрощавшись ни с кем, она уходит, подкошенная страданием, ведомым только ей. С какой-то странной грацией она пересекает трамвайные пути, волоча за собой сетку с банками, которые стучаются друг о друга при ходьбе. Иногда мне чудилось в ее поведении что-то, что сродни протесту. Он был демонстративно театрален. А иногда я видела ее анемичной, осевшей, полностью безразличной ко всему происходящему. Как она там сейчас? Как пережила зиму и пережила ли? Выпускница Тбилисской консерватории. Профессиональная певица с яркой судьбой. Сейчас трагически переживает разлад со взрослой дочерью. «Я во всем виновата сама. Надо было либо петь, либо воспитывать дочь... Я вас очень разочаровала своей историей с дочерью? Вы осуждаете меня?» — спросила она однажды, когда ее неожиданно посетил стих откровения, шемящий душу. «Ну не ходите ко мне! Не ходите. А то я буду трудно отвыкать от вас», — сказала она резко. Я не пошла. К сожалению.

...Сергей Оганезов — местный представитель Армии спасе-

ния — приносит огромный ящик. Из него извлекается блестящий американский аккордеон. Он вручается Инночке Савельевой, которая играет все. Она поет и играет. Сочиняет стихи и мелодию. Коронное произведение Инночки «Танго». Она сочинила его в августе 96-го года. Я присутствую на премьере.

Танго, с тобой танцую танго,
Ах, это танго звучит для нас двоих, —

поет Инночка, извлекая звуки из аккордеона так, как это делали, должно быть, французские шансонье времен фильмов Ренуара или певцы эпохи нэпа. Откуда шарм и это редчайшее голосоведение, делающее зримой и чувственной ту реальность, в которой мы никогда не были, но которая жила в нас как мечта о несбывшемся счастье? Сколько же подлинной поэзии в этой мечте.

За тарелку постного супа надо благодарить Америку и американский народ. Здесь все знают, что это за праздник, 4 июля. В 96-м году Америке 220 лет. Грузия не то сотая, не то сто первая страна, вступившая в Армию спасения, основателем которой является англичанин Уильям Буг. Бедные открыли Америку здесь, на Московском проспекте.

Колумб Америку открыл,
А мы сейчас ее открыли.
Он по морям к ней долго плыл,
А мы еще и не доплыли.
А я Америку открыла,
Когда в столовую ходила, —

поет Инночка, полная надежды на то, что с группой бедных она посетит Америку и покажет там свое искусство. Прежний капитан Армии спасения Линда обещала взять с собой Свету и Инну. Но надо найти деньги на дорогу. Денег нет. Однако на всякий случай Инночка сочинила «Отлетную», в которой говорится, что с помощью международной поддержки бедные еще пляшут и поют. Здесь же поется, что «лучше грузинской столицы нигде нам с тобой не видать».

* * *

Я попросила Инночку написать про свою жизнь. Она откликнулась охотно, но пришла не сразу. Столовую закрыли на

два месяца. Продукты еще не пришли из-за океана. Голодная Инна два раза падала в обморок. Потом соседи накормили, и она принесла мне как ни в чем не бывало десять страниц текста, начинающегося словами: «Я, Экбиндер (Савельева) Инна Донатовна, родилась 21 ноября 1925 года в деревне Дольсице, которую снесли во время коллективизации». Десять страниц перечисления фактов жизни, от которых шевелятся волосы, но ни жалоб, ни стона, ни просьб. Оказывается, бывает такое проживание жизни, которое уже не сопровождается отношением к ней. Деревня, в которой родилась Инночка, состояла из шести дворов. Кругом лес сосновый. В семье пять сестер и брат. Дедушка по отцу немец, бабушка — полячка, мать русская. Отец в Первую мировую войну был ранен, перешел на сторону революции. Работал в милиции. Ловил банды. В 32-м году забрали в Сибирь. Там и умер. В школу Инночка пошла поздно — не было обуви. После шести классов работа на молокозаводе. В Отечественную войну попала в оккупацию. Жили то в землянке, то в бане, то в стог сена ночевали. Наконец перебрались в другую деревню к бабушке. В 25 километрах проходила дорога на Ленинград. По этой асфальтированной дороге немцы шли, но в леса не заходили. Боялись. Однажды Инну с сестрой увезли в Германию. Город Оберндорф на Неккаре. Там был завод «Маузер-Верке». 400 русских прибыли на завод первого мая. В честь праздника узников кормили сырой брюквой. Работали по двенадцать часов на станках. Дневная и ночная смены. На работу водили с овчарками. Каждый должен был на груди носить знак. На голубом фоне белый знак «OST». У Инны был номер 950. На заводе работали русские, французы, голландцы, бельгийцы, итальянцы, но только русские и поляки носили знаки отличия. У поляков на желтом фоне было написано «Р». Кормили два раза в сутки. Хлеб с опилками. Многие умирали. Отчетливо помнит победу под Сталинградом. Ночью в бараке Инна пела. Надсмотрщики хлестали лежащих на нарах плетью. «А я пела. Он меня ни разу не хлестнул. У него не было музыкального слуха. Это точно: не попал в меня, а я ж орала во всю мочь». 18 апреля 1945 года французские войска освободили узников. Домой ехали в товарных вагонах целый месяц.

А на Родине жили в землянках. В 49-м году вышла замуж. Родились две девочки. Погодки. «Зайцами» без денег поехали в город Советск Калининградской области. Это была запретная зона. Но границу перешли. Дали комнатенку. Одна дочь забеле-

ла туберкулезом. В 66-м году Инна прочла объявление о вербовке в Грузию на сбор чая. Так и осталась жить в Грузии. Работа под палящим солнцем на чайных плантациях вспоминается как каторга. Но надо было выжить. Когда распался Союз, хотела поменять квартиру на Одессу, где дочь живет в коммуналке. Не получилось. Обращалась с просьбой о переселении. Не получилось.

Зимы 92—96-го годов были особенно тяжелыми. Электричества нет. Воды на девятом этаже — тоже. «Со своей верхотуры я смотрела на Тбилиси. Лежащий во тьме, он казался огромным мертвецом».

О той поре у Инночки много стихов.

Мы в вечернем Тбилиси сидим в темноте.
Без воды и без газа варим суп на костре.
...Да, в блокадном Тбилиси не светят огни.
Только звезды да месяц глядят с вышины
На вечерний Тбилиси, что лежит между гор
И едва уже дышит — с незапамятных пор.

Все стихи Инны полны одних вопросов к Родине:

«Как найти нам дорогу, где найти нам пути?»

«Если руку протянешь, Святая нам Русь,
Отыщу я дорогу, и к тебе я вернусь».

* * *

На этот раз Светочка танцует «Чилиту». Клетчатая рубашка. Желтый галстук. Синие джинсовые брюки. Шляпа «а-ля Ватсон». «Хотите, я вам такую свяжу?» — Света успевает вставить эту фразу в монолог, посвященный на этот раз не то Испании, не то Мексике. В руках у Светы ложки. Вместо кастаньет, как я понимаю. Она делает несколько кругов по бетонному полу, отбивая ложками такт. Во время ритмической паузы успевает напрямую обратиться к слушателям с риторическим вопросом типа: «Как будет по-итальянски “зубрилка”?» — И сама отвечает, смеясь: — Папагало». И снова отстукивает ложками заморскую мелодию, пританцовывая в такт.

Света — прирожденная клоунесса. Она знает, что людям плохо. Никто не догадывается, как плохо ей. Если она пропадает на

несколько дней, это означает только одно — Света больна. В течение нескольких лет она лежала прикованной к постели. В это трудно поверить. Света читает и пишет по-грузински. Истая ленинградка, пережившая блокаду, теперь она имеет большую льготу: на метро ездит бесплатно. А еще министерство культуры Грузии вручило бедным русским пропуск в театр. Так что Свете можно вечером найти или в оперном, или в драме. Она всегда ярко одета. Жесты театральны. В голосе всегда пафос. Только в редкие минуты ощущаешь глубочайшую боль и одиночество, которые пронизывают все существо Светы. Одно время она состояла в переписке со Шпаро, участником рискованнейших экспедиций. Шпаро присылал Свете свои книги и книги своих друзей. Вывал к мужеству. Благодарил за интерес к экспедициям. Каждый раз, когда Света приходила домой, мне доставался подарок — плетеные кружевные салфетки. Света — мастерица. «По моим изделиям можно изучать весь "Шелковый путь"». Часть этого «пути» у меня теперь дома. На мою просьбу написать о жизни ответила сразу и резко: «Нет! Не хочу вспоминать. Я запретила себе воспоминания, чтобы не сойти с ума». Последние слова Света произносит с силой по-грузински: аргамаживо! (не сойти с ума). Но однажды она принесла огромный альбом про Ленинград. Начала медленно водить по картинкам пальцем: «Вот это я в годы войны», «Это началась блокада», «Здесь нас начали вывозить»... Напечатанный в типографии альбом стал для Светы семейной реликвией. Она обжила чужие картинки своими страданиями и радостями. На втором часу путешествия по альбому мне стало казаться, что та пятилетняя девочка, что стоит у вагона, разбитого немцами, и есть Света, которая выросла и теперь сидит рядом со мной и разглядывает картинки своего детства. Жуткое, леденящее душу состояние: безличные снимки оживляются частной судьбой, потому что следов своей собственной уже никогда не сыскать. Их попросту нет!

...А Инночка поет: «В ответ открыв "Казбека" пачку...» — и чудится мне, что еще немного — и все устроится. Не может быть, чтобы Родина навсегда покинула своих детей. Все время кажется, что там просто еще не узнали, как здесь страдают. Вот узнают — и спасут. Нет, не хотят знать. И не спасут. Потом Инночка поет про «фиалку, букетик лиловый». Все вместе поют «Распрягайтэ, хлопцы, конэй». Тамара поет по-армянски «Журавли», потом все вместе «Сулико», и только тут я ловлю себя на чувстве, которое Андрей Платонов назвал родным, но давно забы-

тым. Это чувство нашей общей Родины, которой нет. И повар-армянин Альберт, и украинец Рубежной, и грузины Миша Рушишвили с Марией Папуашвили, и я — мы все еще в той стране, которой давным-давно нет. Салон для бедных — это осколок великой страны, люди которой продолжают жить и чувствовать себя по законам времени, которое безвозвратно ушло.

...Есть великий фильм Кустурицы «Подполье». Рассказ о людях, которые не ведают, что война кончилась, и продолжают жить в подполье, будто мир никогда не наступал. Горький, гротесковый фильм. Могла ли я подумать со своими учениками, смотревшими этот фильм, что всего через полгода сюжет Кустурицы станет частью моей жизни и жизни тех людей, которым уже никогда не выйти из подполья, как бы залихватски ни распрягали хлопцы коней.

НАШ ДВОР

Подсчитываю свои жалкие гроши. Если я поеду автобусом до Москвы и заплачу 60 лари, то смогу в течение двух недель кормить своих девочек — моих славных подруг Инну и Свету. Наш двор принял их сразу. Эти гости от Бога. Вот и настало время рассказать про наш двор. Здесь жили мои друзья, состоявшие в родстве с великим режиссером Сергеем Параджановым. Каждое лето я ждала того мгновения, когда мы всей семьей отправлялись на Котэ Месхи, 10, где жил режиссер. Теперь этой семьи здесь нет. Они не выдержали двух голодных зим в девяностые годы и уехали в Израиль, точно зная, что родины у них не будет никогда. Сейчас я живу у Альвины, матери уехавшего сына. Первый раз я поселилась в нашем дворе в 75-м году. С тех пор каждый год двор живет ожиданием встречи. «Элвира приехала!» — раздается детский крик, как только я появляюсь в проеме арки на проспекте Агмашенебели, 100. Открываются окна всех домов, образующих наш двор. Из них свешиваются люди с приветственными кличами: «Хоча (молодец), что приехала!» В нашем дворе русские, армяне, грузины, курды, греки, осетины. Стоит мне заболеть, хозяйка Альвина кричит прямо с балкона: «Кето! Эльвире плохо!» Из соседнего дома появляется наш ангел-хранитель, дворовый врач Кето, и на мне пробуются новейшие средства медицинской науки. Живущая этажом ниже русская Маня — специалист по давлению. Она приносит мне таблетку дорогого кардафена и приглашает на обед к двенадцати часам в православную церковь. Но на обеды я не хожу. Когда

тарелка супа дается прежде священнику, а потом уже трясущемуся от голода ребенку, сердце мое такого христианского порядка не выносит. Я вступаю за ребенка и нарушаю порядок. Шестидесятилетняя Манечка тем не менее молится за меня, когда я в Кодорском ущелье или в Чечне. Маня ставит за меня свечки. Об этом я помню в дороге.

Окна напротив — это квартира Лии, работающей в заведении для больных астмой детей. Когда-то наш двор собирал вещи и игрушки для этих детей. Теперь поток дарений иссяк. Лия — главный судья нашего двора. Это она позвонила своей соседке-армянке: «Эрна, как тебе не стыдно! Эльвира второй день болеет, а ты ее не навестила. Мне стыдно за наш двор». Эрна — музыкант. Получает копейки. Муж работы не имеет. Сын занимается спортом. Велосипедисту Гурику требуется калорийная пища.

Первый этаж напротив занимает богатый человек Эгир. Ну и что, что он богатый! Он ведь наш сосед. И любит всех нас. Когда Эгиру прострелили ногу, в ту ночь весь двор наш не спал. Все переживали за исход операции. Иногда Эгир на своей машине подвозит нас на дальнюю базробу (барахолку) в Лило. Мы, бедные, покупаем шпильки и мыло, но упорно ждем, когда нас в следующий раз повезет Эгир. Мы едем всем двором! Рядом с Эгиром живет армянка Тамара, которая всегда успевает сообщить нам по телефону, что «идет свет!». Это бедный контролер пытается снять показания с наших счетчиков. Тому, кто уже успел отмотать «свет» назад, хорошо. Можно контролера и впустить. Мы же не отмотали. Мы честные, но заплатить за свет не можем. Дверь наша закрывается перед носом дяди с амбарной книгой.

Этот двор хранит в своей памяти все. Но чаще всего вспоминают, как 26 мая 1991 года я с пятилетним внуком своей подруги отправилась на проспект Руставели. Жажда полного суверенитета (тависупал срулиат) имела свои издержки. Русской с армянским мальчиком не годилось поздно расхаживать по улицам. Так считал наш двор. Нас не было более трех часов. Двор насторожился. Каково же было удивление обитателей двора, когда обнаружилось, что мы с Левончиком попали на трапезу, устроенную новым президентом в память о своем погибшем друге Мерабе Коставе. На самом деле героем трапезы стал сам Звиад Гамсахурдиа. Шли последние часы избирательной кампании. Будущий президент пребывал в ожидании головокружительной

победы. Мы сидели с ним за одним столом. Звиад пил мое здоровье, а я произносила диссидентский тост «За нашу и вашу свободу», словно забыв, что однажды Звиад отрекся от него. Весь двор бурно обсуждал поведение своего национального лидера, подвергались анализу достоинства стола, которого никто не видел, но больше всего досталось Левончику за то, что он не ел икру, которая оказалась черной-пречерной.

...Потом, спустя полгода, все тихо догадывались, что это я шла с боевым отрядом «Мхедриони» в Западную Грузию, оппозиционно настроенную к тем, кого я считала своими друзьями, — чтобы свидеться с опальными Тенгизом Сигуа и Тенгизом Китовани.

Но я была с нашего двора, и никакие политические разногласия не могли сказаться на нашей дружбе. Душа нашего двора, красавица Нино, до сих пор считает, что Звиад Гамсахурдия просто не имел возможности реализовать себя. Как и многие грузины, Нино сожалеет, что со смертью Звиада разрушилось гнездо старинной грузинской фамилии. Я так и не поняла, как действует механизм нашего двора, в результате чего мы, все такие разные, живем как одна семья. Одно мне стало ясно — то, что живет естественной жизнью, на самом деле есть сложное образование десятков воль, желаний, стремлений, подчиняющихся неписаным правилам, которые вырабатывались теми, кто жил до нас. Это большая душевная работа, которой многие не замечают, но вершится она в глубинах нашего подсознания, создавая главное ощущение — чувство защищенности и безопасности всех и каждого. Редкое и счастливое чувство, которое у меня бывает только здесь. В нашем дворе.

...Нино безуспешно пытается вписаться в рыночную экономику. Она содержит два коммерческих киоска, которые ей мало что дают. У нее двое взрослых детей. Вся семья музыкальная. Сын начал играть на дудуке еще в раннем возрасте. Концертировал ребенком. Учился у лучших дудукистов Грузии. «Ах, колбатано Эльвира, что поделаешь, если мой сын чистый интеллигент и не хочет играть в ресторане». Звиад действительно не хочет играть ни на похоронах, ни на свадьбах. Дочь Анна попала в тбилисские события под российскую «черемуху». Последствия той «черемухи» ощутимы и сейчас. Аня будет певицей. Голубоглазая блондинка Нино в трудный для себя час, как и многие неверующие грузины, обратилась к Богу. Она ходит в молельный дом, принадлежащий какой-то секте. Несколько таких за-

ведений посетила и я. Грустное, надо сказать, зрелище. Но оно привязывает человека атмосферой общей семьи, единого дома. «Самый большой грех — это самолюбивство», — говорит Нино. Я соглашаюсь с ней. «Нельзя никого судить, и даже того, кто плохо о тебе говорит, потому что — как знать! — а вдруг его языком Бог указывает тебе на твои недостатки». И я соглашаюсь. ...У нашего двора овощные палатки. «Можно я завтра заберу этот вилок?» — спрашиваю у продавца. «Почему нет? Приходи всегда! Я тебя жду всегда!»

Пышных застолий в нашем дворе уже нет. Но прежние привычки остались. Странно наблюдать, когда за тарелкой супа ведут себя так, будто у нас пир горой. Отказаться от привычек невыносимо. Приносят соседу мчади. Кукурузную лепешку. Иногда целиком, иногда половину. Важно прийти и принести. Важно соблюсти ритуал. «Знаешь, — говорит мне наш участковый врач Мадлена, — у моего соседа гости. По нашему обычаю, я должна пригласить соседа с его гостями. Хочешь знать, почему? А вот: сам сосед ведь не может про себя говорить хорошо, а мы скажем гостю, какой у нас замечательный сосед. Весь вечер посвящается соседу. И вот я стала замечать, что не только не могу пригласить гостей соседа, но и не хочу. Последнее, скажу тебе, самое страшное. Если умрут наши лучшие привычки, что мы за нация будем?» Перед Мадленой наш двор в долгу. Вызов врача стоит 2 лара. Мы должны были бы вызывать Мадлену хоть в две недели раз, а то она лишится своего места. Но у нас во дворе нет таких денег, и мы все стыдливо прячем глаза, когда Мадлена просто так, по старой привычке, навещает нас.

...Последним событием двора стала надстройка целого этажа в доме напротив. Разбогатевший «новый грузин» возносил свое жилище в поднебесье. С нашего двора поднимались балки, бетонные плиты, перекрытия. Обсуждению двора подлежали все детали обустройства соседа. «Нет, ты посмотри, Эльвира, что делается, — печалится Лия, — а я, учительница, не могу купить себе банку мацони. Так можно?» Нет, так не можно, — думаю я и внимательно слежу, как шикарная импортная рама поднимается на высоту десятого этажа и устанавливается на кирпичной кладке. Все-таки это наш сосед. От сильного ветра наше жилище качается. У нас нет воды. И на двадцать человек один туалет. По ночам бегают огромные крысы-мутанты, которые ничего не боятся. Мы ждем, когда снесут наш дом, но одна мысль, что порушится наш двор, превращает ожидание в пытку. Ничего

нельзя сделать в своем доме, чтобы этого не знал двор. Все знают, какой гость пришел к вам и кто остался ночевать. И почему гость спал у вас в этой комнате, а не в другой, ведь там ему было бы удобней...

...Нино совсем не права, когда кучу мусора со двора не выносит вовремя. Подумаешь, ее увидят на улице с мусорным ведром. Ну и что?

...А почему Кето дежурит вторую ночь подряд? Пора печь мчади, которые так любит наша гостья. Нино приносит стихи, посвященные мне. Читает сначала по-грузински, потом по-русски. Все с нашего двора плачут, потому что близится день моего отъезда. «Я дам тебе бюллетень на год», — шутит Кето. Если бы она не шутила! Если бы это была правда! До свиданья, наш двор! До следующего лета. Если мы будем живы... Если...

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

«ОСТАЛИСЬ ТЕ, КТО НИЧЕГО НЕ БОИТСЯ...»

Автобус Ереван—Степанакерт живет своей жизнью. 14—16 часов пути — целая эпопея. Успеваешь прикипеть к людям так, что расставание — нож острый.

Люся — медсестра из Лачина. Муж погиб 29 июля 1992 года. Люсю ранило 27 июля. Без отца осталась дочь Лана. Сейчас она держит поднос. На нем торт. Везет домой. Первая порция достается мне, как гостье из России. Всю дорогу Лана ластится к Самвелу, сменщику нашего шофера. У Самвела погиб сын. «Внуков не будет». Фраза произносится безнадежно и с болью. Я хочу задать один вопрос, который у меня давно торчит в мозгу. Не дает покоя. Это, если честно, вопрос не совсем мой. Его задала моя подруга Виктория Восканян из Степанакерта. А суть вот в чем: стоила ли независимость Карабаха стольких жертв? Однажды Виктория не то спросила меня, не то просто, рассуждая вслух, сказала: «Как ты думаешь, те, кто начал ЭТО, понимали, какие жертвы придется принести? Знай они все заранее, стали бы действовать так же?»

Жертв в Карабахе так много, что этот вопрос всегда со мной. Самвел понял, о чем я хотела спросить, похоже, это и его вопрос тоже. «Знаешь, я все время спрашиваю себя: а почему мне должно быть хорошо? Пусть мне будет плохо. Пусть хорошо будет внукам, хоть и не моим... Ты посмотри, какая красота! Вот бы кисти сейчас! Ведь это все просится в рисунок... Да?»

Да, это все просится в рисунок, Самвел, хотя и не знаю, как это нарисовать... Есть час пути на трассе Ереван—Степанакерт, когда ты постоянно видишь Большой Масис. Ни одна секунда созерцания не похожа на другую. Такое впечатление, что с Маси-

сом приходит ощущение вертикали, когда земное бытие плавно переходит в инобытие. Чувство того, что лежит за гранью нашей жизни, дано тебе в зримых формах только здесь, где дух обретает причудливые, постоянно меняющиеся очертания. Кажется, что ты видишь движение духа. Не гора это вовсе перед тобой, а какая-то духовная субстанция, данная для того, чтобы ты в своей ежедневной жизни не забывал, что есть он, высший смысл, и в твоём столь кратком и временном пребывании на земле. Я хорошо понимаю привязанность армян к Масису. Тело тоскует по духу, насильственно отторгнутому. Так будет всегда. Не помню случая, чтобы не устанавливалась в нашем автобусе тишина, когда из-за туч или тумана начинали проступать контуры великого духа, на этот раз принявшего форму горы. Масис входит в душу навечно, поселяя в ней наряду с чувством величия и какую-то странную тревогу, смысла которой я не пойму. Но эта тревога есть. У всех, кто попадает под действие Масиса.

«Если сегодня Москва разрешит нам взять Масис, завтра он будет наш», — сбивает тревогу попутчик, и мы все на время освобождаемся от власти Масиса, чтобы потом снова окунуться взором и духом своим в щемящее чувство тоски по великому.

Люди моего возраста и чушь-чуть моложе все еще ощущают себя братьями. Никто не может смириться с утратами, невозможностью свободно передвигаться и жить на пространстве бывшей нашей Родины. Мой сосед Юра едет со своим другом в Мардакерт, в больницу — друг получил сообщение о тяжелой болезни сына-солдата. Едут и не знают, жив ли он. «Россия мне снится. Я там долго работал и жил. Ну где оно, дерево, где? Что ты заладила — горы, горы... Покажи мне дерево!» Деревя нет. Я не могу показать Юре дерево. «Горы? Упаси бог! Больше всего на свете я боюсь быть похороненным здесь. Ты представляешь — одни камни. Забрасывают не землей, а камнями. И если воскресну, то не выйду. Ты это можешь понять? Никогда не выйду».

Юра жил в Грозном. После начала войны выехал в Армению. В Грозном было много армян. Мастеровые, учителя, врачи...

...Вот и Лачин. Выходят из автобуса многие, в том числе Люся с дочерью. Год назад Лачин мне показался вымершим. Сейчас все те же развалины, но электрический свет прорезает тьму во многих местах. Кто же тут может жить? Говорят, уже пятьсот семей поселились. Условия невыносимые, но люди живут.

Больше всего меня поразили те, кто встречал автобус. Это были молодые мужчины. Высокие. Красивые. Черные бороды и огромные глаза, глядя в которые стыдишься задать вопрос: как здесь жить? Есть в этих глазах нечто большее, чем отражение той жизни, которая вокруг. Как попали эти люди в Лачин? На что надеются? Дочь Люси долго не выпускает Самвела из объятий. Потом Люся пропадает в темноте и я слышу ее голос: «Если приедешь, Эльвира, скажи, что к медсестре, любой тебя проводит». Я успеваю увидеть жест Люси, направленный к дому, половина которого в обломках, а в другой нет стекол в окнах, они занавешены цветными тряпками.

Дай Бог тебе, Люся, сил. Если ты, раненая, выдержала известие о смерти мужа, сумеешь выдержать и все остальное.

ПЕРЕВОД С АРМЯНСКОГО

Наринэ Мовсесян (назовем ее так) — медицинская сестра. По профессии — преподаватель французского. Из Еревана. Когда началась война в Карабахе, пошла на фронт. Часть, в которой служит Наринэ, расположена в Мардакерте.

Разговор у нас не получался. Она не то чтобы не хотела говорить, хотя сама пришла на встречу со мной. Она не принимала моих вопросов. Только к концу дня я с трудом пойму, что во всем бедении Наринэ есть своя правда, не обязанная считаться ни с общей истиной, ни с моими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Опыт военной жизни рождает свою правду, горькую и гордую одновременно. Ее НЕ ВСЕ высказывают вслух, предпочитая на банальный вопрос давать ожидаемый ответ. У Мовсесян свои вопросы и свои ответы.

...А начиналось все плохо. Хуже всего в разговоре была я сама.

Однажды Наринэ рассказала, какой приключился с ней случай в Лачине. Ранило азербайджанскую женщину. Из ноги хлестала кровь. Медсестра Наринэ раненую не перевязала. Командир отряда отчитал медсестру за этот поступок. Об этом тоже Наринэ сказала мне. А я, ничего не поняв, стала задавать дурацкие вопросы про клятву Гиппократата и все, что из нее вытекает.

Мовсесян посмотрела на меня отстраненно и произнесла: «Есть нечто большее, чем клятва Гиппократата. Это та клятва, которую дала я». И — смолкла. Что-то было в молчании медсестры такое, что заставило меня повиниться. Расстаться с Наринэ вот так просто не было сил. Потом мы пришли в часть. Наринэ

нэ смерила мне давление, дала кучу таблеток. Подарила огромных размеров гильзу, которую можно приспособить под вазу или подсвечник. Показывала фотографии друзей. Долго задерживалась на лицах погибших и продолжала о них говорить как о живых. Маленькой рюмкой коньяка коснулась моей, когда пили за погибших. «Но ведь за погибших не чокаются?» — это я. «А они не погибли», — говорит Наринэ и говорит так, что я начинаю верить, может, и в самом деле погибшие за Отечество не погибают?

Первым погибшим, которого увидела Наринэ, был восемнадцатилетний юноша. Она плакала. «Сердце мое окаменело». Рассказывает подробно о каждом погибшем, и прежде всего о погибшем командире. «Смелый. Романтик. Много переняла у него. И главное — терпение». Когда взяли Мардакерт, он подорвался на mine. Погибла подруга Карина Геворкян. Получила осколочное ранение. Наринэ пишет стихи о своих друзьях. Делает попытку перевести на русский. Основная трудность — преодолеть общие фразы. Ну вот например. Наринэ читает на армянском, учительница русского языка переводит: «Я потеряла их. Они ушли безвозвратно. Остались в моих воспоминаниях».

«Нет, — говорит Наринэ, — не так. Нельзя так: «остались в воспоминаниях». Это не так». Постепенно подбираемся к тому, как это должно звучать: «Они ЦАРСТВУЮТ в моих воспоминаниях... Они НА ТРОНЕ моих воспоминаний... До сих пор ВЛАСТВУЮТ в каждое мгновение...»

Почему ушли и меня оставили?
Неужели Бог только меня счел сильной,
Чтобы я могла на себе это горе
Безгранично носить...
Я должна цепляться за все, чтобы выжить
И чтобы сделать их живыми.
Когда я рассказываю о них,
Я думаю, что они живы.

Вот так: на троне воспоминаний. Царствуют. Восседают.

Только таким может быть слог, когда говоришь о погибших. Так думает Наринэ.

Есть в Степанакерте братское кладбище. Оно расположено на возвышенности. Когда поднимаешься наверх, открывается терраса могил. На мраморных плитах лица молодых людей. Так отчетливо чувствуешь жесточайшую несправедливость. Убиты

красивые молодые люди. От них уже никогда не родятся дети. Я рассказываю о своем восприятии этой огромной горы-могилы и слышу в ответ от молодой женщины, потерявшей мужа в боях: «Нет, у меня другое чувство. Когда поднимаешься в гору, есть такое ощущение, что они все движутся. Двигается молодое войско. Они живы». Так думает и Наринэ. Борьба за свободу у нее в генах. «Я не могу слышать азербайджанский язык. Не выношу надписей на турецком. Не радуюсь иранскому воздуху в Ереване. Об этом я говорила своим ученикам». — «Но как же? — опять вспыхиваю я. — Мы же учителя. Мы не имеем права». — «Я никогда не говорила, что ученики должны поступать так же, как я. Я говорила только о том, что чувствую сама. Всегда их об этом предупреждала: вы должны поступать так, как считаете нужным, а не как я считаю».

Мовсесян любит и знает русский. Но с армянином, уверена она, надо говорить только по-армянски. «Каждая буква нашего алфавита имеет свое звуковое выражение. Наши буквы — наша собственность». Любит Поля Элюара, Верлена, Мопассана, Дюма, Бальзака. На армянском Бальзака читать не может. С человеком надо говорить на его родном языке.

То и дело она возвращалась к лачинской истории. «Я не могла перешагнуть через доброту армян...» Тут до меня наконец доходит, что, возможно, я впервые в жизни встречаюсь с тем, что называется правдой доподлинно. С мукой правды, которую человек несет сам и за которую отвечает ЛИЧНО. Наринэ потому и рассказала про случай в Лачине, что он мучил ее. Жил в ней. Она помнит каждое слово, которое ей сказал командир. Понимает его правоту. Но живет и поступает по своей правде, освященной кровью лучших друзей. Наринэ не нуждается ни в чьем суде, ни в чьих оправданиях и не боится предстать перед Высшим Судом. А если вступает в разговор, предпочитает оставаться самой собой, независимо от того, какой может показаться собеседнику. Честность перед людьми и Богом — такое редко встретишь.

Мы провели несколько часов в части. Мне так захотелось заночевать в комнате медсестры, чтобы продлить нашу встречу, которая сделалась прекрасной, как только я поняла, что имею дело с редким даром — быть бесстрашно верным самому себе. Своей родине. Своей азбуке.

«Впервые в истории мы не опустили голову», — слышу я голос шофера Самвела, когда Мовсесян обнимает меня. Теперь я знаю, что он имел в виду.

* * *

Шестилетняя Лиля Восканян, спускаясь в метро, спрашивает отца: «Папа, это их подвал? Они здесь прячутся от бомб?»

* * *

У меня в Карабахе полно друзей и знакомых. Пожилой Су-рен рассказывает: «Собирал клубнику. Собрал. Вдруг — шаровая бомба. Оглянулся — где клубника? Нет клубники. Самолет завис. Летчик прицелился в меня и не стреляет. Кружит над моей головой. Я извелся. Кричу: “Стреляй, гад! Мне все равно!” Развернулся и улетел. Это был российский самолет. Пошел к главному. Сафонов его фамилия. Идем с женой. Ноги и руки трясутся, а он: “Вы остались живы, чего же жалуетесь?” — “Да не жалеюсь я”. Но он ничего не понял. Так и ушли. Это что? Надо было жаловаться, когда тебя убьют? А кто пойдет жаловаться?»

* * *

Вечером моя подруга Виктория показывает огород. Сюда попал снаряд. «Раньше в год несколько урожаев зелени брали. Смотри, два года ничего не росло. Земля должна была набрать дыхание». Рядом с огородом — большая печка из камня. Ее сложили жители дома, когда пропал свет. В печи поочередно пекли хлеб, лепешки. Внутри печки лежат листы, аккуратно сложенные. Подходы к печке открыты. «Кто возьмет? — говорит Виктория. — Глядя на нас, в других дворах стали складывать свои печи. Это очень помогало. Электричеству и радовались и нет. Знаешь, Степанакерт в огнях — это прекрасная мишень». О господи, никогда бы в голову не пришло!

* * *

Гарiku восемнадцать лет. Воевал с четырнадцати. Красивый юноша. Без образования. Без работы. Спрашиваю про Ходжалы. Трагическая история, тогда погибли азербайджанские старики, дети.

- Да, сожгли. Чтобы они туда не вернулись.
- Но там же были люди, — это я.
- Они должны на себя примерить Сумгаит и многое другое.
- Но при чем тут конкретный ребенок, старик?!
- Ребенок вырастет и возьмет нож, чтобы нас резать.

— Но тогда логика только одна: взять и уничтожить весь народ.

— Мы этого сделать не можем...

Мне показалось, что само предположение Гарика не смущает. Если бы было можно, надо было бы сделать это.

Психолог умер во мне на время разговора. Я все приняла за чистую монету, хотя и видела на лице Гарика страдание.

* * *

Хочу попасть в районы, где шли ожесточенные бои. «Они шли всюду», — коротко сказал Роберт Кочарян, кандидат в президенты НКР.

— Вы к кому приехали?

— Ко всем, кто живет в Карабахе.

— Кто вас курирует?

— Никто.

— Кто несет ответственность за вашу безопасность?

— Никто.

Вот такой диалог с героем Карабаха у меня состоялся.

Итак, я еду в Мардакерт. Вот кто действительно отвечал за мою безопасность в Мардакерте, так это Владик Мовсесян. Инвалид второй группы. В войну был наводчиком. Много раз ранен. Жена рожала. Началась бомбежка. Укрыл жену бушлатом. Все убежали в подвал, а роженица на столе. Выжила. Родился ребенок. У Влада нет легкого. «Что же ты куришь, Влад?» — «Очень страдаю, когда думаю. Уверен, что азербайджанцы тоже не хотят воевать. Я, знаешь, одного поймал и спрашиваю: «Ты зачем здесь? Ты здесь родился?» — «Нет, — говорит, — не родился». — «Так зачем с оружием идешь?»

...Мне отводится отдельная комната, продуваемая всеми ветрами. Это лучшее, что есть в развалинах, когда-то бывших гостиницей. На проводочке висит лампочка. У стены остатки того, что было раковиной. Туалета нет. Разбит. Воды нет. Коридор в темноте. Владик приносит плиту со странной спиралью: куски спирали соединены металлическими гвоздями. Тепла от такой плитки никакого. Влад что-то затачивает перочинным ножом, а потом некое подобие вилки втыкает в стену, где должны быть провода. Что-то трещит, дымит, но печка постепенно накаляется. Я прошу эксперименты с электричеством прекратить. «Ты что! Родилась пятимесячной? Совсем ничего не понимаешь? Давай ночь разговаривать. Здесь гости бывают редко».

Если Влад вспоминает события 92-го года, то непременно плачет. Рассказывает, как азербайджанец, которого хорошо знал, подорвался на mine. «Я его не убивал. А кто его убил, ты знаешь? Я думаю, война убила. Я тебя очень прошу, скажи там, где будешь, чтобы войны не было. Скажи».

Зарплата Владика три тысячи драмов. На хлеб не хватает. «Мне все время кажется, что будет война. В одном месте закончится, в другом начнется. Знаешь, есть такая армянская поговорка «В каждой деревне — своя собака». Понимаешь, у каждого народа не перевелись собаки».

А еще на прощанье он произносит замечательную армянскую фразу. В переводе это звучит так: «Армянин спохватывается, когда рана до кости доходит». Это про армянское долготерпение. Между тем терпение Владика на пределе.

* * *

Их было двенадцать молодых красивых юношей, направленных в села Мардакертского района работать учителями. Это их альтернативная военная служба. Перечислю их имена: Карен, Давид, Самвел, Левон, Карапет, Вазген, Анушаван, Артур, Ваган, Гайк, Гор, Роберт. Физики, математики, лингвисты, программисты.

Стояли холодные ноябрьские ночи. Согреться нечем. Даже чая нет. Сдвоенные номера напоминали казарму периода войны. Их не случайно двенадцать человек. Они апостолы. От них зависит будущее Армении, и они прекрасно это знают. «Если не мы, то кто?..» Почти всю ночь мы обсуждали их первую встречу с детьми. Они понимают, что главные трудности лежат не в сфере знаний и обучения. Главные проблемы — в психологии ребенка. Каждый думает о собственном пути к детям. Трудности послевоенного провинциального быта их не занимают.

Среди них есть один, который воевал в Мардакерте. Он сказал, что ему самому нужна психологическая поддержка и он надеется ее найти у детей. Эти молодые люди поразили меня строем мыслей, способностью формулировать проблемы и прекрасной русской речью. Миссионерские задачи стали сущностью их жизни. Такие учителя сделали бы честь любой нации. Они не были похожи на моего знакомого Гарика, размышления о котором все не давали мне покоя. Шел третий час ночи, и я рискнула рассказать все без утайки. Когда я закончила свое повествование, наступило долгое молчание. Никто не спешил говорить

ни «за» ни «против». Молчание нарушил Гайк, выпускник Волгоградской академии физкультуры.

— Сколько ему было лет, когда он начал воевать?

— Четырнадцатый пошел, — ответила я.

— Вот вам и объяснение. Это уже сломанная психика. Воевать в таком возрасте нельзя. Он, конечно, не прав. Но обвинять его за то, что он так думает, нельзя. Мы ведь многого о нем не знаем.

Показываю листок, на котором нанесена схема одного из решительных боев: Степанакерт — Шуша — Лачин. Потом гора Кирс, на которую армянские бойцы поднимались в течение многих часов. Взошел на ту гору и четырнадцатилетний Гарик. Что же я знаю о нем? Да ничего! Мы внимательно рассматривали указания на схеме, сделанные рукой юноши. Направление стрелок то на Ходжалы, то на Малибейли, и я чувствую, как ко мне постепенно приходит понимание того, что, возможно, стояло за отточенными и категоричными фразами восемнадцатилетнего юноши, начавшего воевать четыре года тому назад. «Надо быть армянином, чтобы его понять», — сказал один из двенадцати. Сдается мне, что он был прав.

ШУША

«Сорок тысяч мертвых окон там видны со всех сторон» — это Мандельштам о Шуше. И о поденшике дьявола тоже. Я спала и видела Шушу. Первый раз я увидела ее воочию в сентябре 1995 года. Вот она, втянутая в поднебесье, политая кровью земля. Что же видно со всех сторон? Хачкар. Рядом со школой — хачкар. Впившись губами в каменное распятие, стоит девочка. 23 сентября ей исполнится шесть лет. Рядом братик. Три года. Кому хачкар? Отцу? Брату? Деду? Оказалось — всем, кто погиб. Взрослых рядом нет. Как попала сюда? — Сама! И он — сам!

Так они и остались у хачкара, являвшего вместе с маленькими детьми одно изваянное целое. «Страх, соприродный душе» — теперь я знаю, что это такое.

* * *

Ноябрь 1996 года. Я попадаю в Шушу в третий раз. С моим другом Аликом Восканяном. «А я не люблю Шушу», — сказал он, когда мы, поднявшись по крутизне, въехали в город. На обратном пути заметил: «Если бы вы знали, сколько здесь крови

и сколько погибших!» Мне рассказывала мать Алика, моя подруга Виктория, как 9 мая Алик пришел из Шуши с тремя тюльпанами: «Он был весь в крови. А мы сидели в подвале и ничего не знали. Все выбежали. И вот эти тюльпаны. Они тоже были как будто в крови. Алик оказался первым, кто сказал нам о победе... Были такие, кому война — сестра родная. Даже уважаемые в городе люди не стеснялись грабить дома. А мой сын — с тремя тюльпанами... Хорошо-то как... Свободный человек, да?»

...Свободный человек привез меня в знаменитую шушинскую тюрьму. Белые крепостные стены описывают огромный круг, в середине которого мощные каменные постройки с плащом посредине двора. Из мостовой плаца выдрано несколько каменных глыб. По мнению специалистов, это древнейшие хачкары, которые недругом использовались не по назначению. Алик дотрагивается рукой до каменных букв, физически ощущая, как и все армяне, зов предков.

Начальник тюрьмы — молодой человек. Ему не больше сорока. Мне разрешено встретиться с двумя азербайджанцами. Фаик Гадимов. Семьдесят пятого года рождения. В плену с апреля девяносто четвертого.

Эльчину Жафярову девятнадцать.

Фаик вышел к нам в остатках национальной одежды. В прошлом боксер, бывал на сборах в моем родном Новосибирске. Попал в плен. Долгое время пас коров в Мардакертском районе. Выучился армянскому. В камеру шушинской тюрьмы вошел со словом: «Баревзес» (здравствуйте!). Сокамерники-азербайджанцы опешили. Фаик контактный человек. «Нет, ты можешь себе представить, — говорит Алик, — что тюремный врач освободил его от всех работ. Так бился за него!»

У Фаика черепное ранение. Глаз слепнет. Оба парня из беднейших семей. Выкупать их никто не будет. Обменивать, похоже, тоже. Один из них рассказывал, что, только побывав в карабахских домах, понял, что должно быть в доме.

Я спросила Фаика, какие ему снятся сны. «Все годы вижу один и тот же сон: отец и мать плачут». Он повторил: «Они все время плачут. Хоть сон прервется, хоть нет — все одно и то же!»

Фаик из Сумгаита. Живет в одиннадцатом микрорайоне. У Эльчина мать русская. Но сам он по-русски не говорит. Попался Эльчин по-дураски. Состоял в РДГ — разведывательно-диверсионной группе. Пошел за водой. Не заметил, где граница. У

него был бочонок воды. Не хотел воды дать. Начал ругаться по-азербайджански. Его и схватили. Семья у Эльчина большая — еще трое младших братьев. Во сне видит только дом. И больше ничего. Состояние духа угнетено настолько, что никакие фокусы Фаика не вызывают у Эльчина улыбки. Он так и не понял, как попался, а главное — за что. Мы перешли на русский. Эльчин замолчал. Фаик безудержно говорил, переходя с одного языка на другой и на третий. И тут вдруг все работники тюрьмы, что присутствовали на нашем свидании, начали быстро переходить на родной язык Фаика и Эльчина, на азербайджанский. Им показалось, что я неправильно поняла юношей. Бог ты мой! Какое это было зрелище! Огромный каменный мешок без окон. Армяне, бойко говорящие по-азербайджански, помогали своим военнопленным точно выразить то, что у тех наболело, что саднит их душу. В лицах было такое напряжение и такая страсть, такое желание понять другого на его родном языке, чтобы мне, русской, стало ясно, чем живет пленный! Наступил миг такой ясности и такого понимания друг друга, что могучие стены шушинской тюрьмы показались мне нелепой и смешной декорацией. Всего несколько мгновений мы все были просто людьми, но эти мгновения ничего не решили. Настало время прощания. Я увидела, как мальчики двинулись через весь двор к своей камере. Тюрьма продолжала жить своей обычной жизнью. В руках у меня остались только адреса родителей. И больше ничего! Ни-че-го!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

(Из рассказов Альберта Восканяна)

«Много чего было, но этот случай, как вспомню, плакать начинаю. Одну женщину взяли в заложницы. Была она с двумя детьми. Мальчику три года, девочке — год и два месяца. Стукнули мать по голове. Засунули с сыном в багажник. Когда очнулась, девочки нет. Где искать? Пробовал все: звонил, уговаривал, узнавал. Просвета никакого. Мы иногда обмениваемся не через “верх” (по закону), а непосредственно. Меньше волокиты и пользы больше. Чем ниже ступень лестницы, тем легче договориться. Здесь человек ощущает жизнь так же, как ты. Иногда обмен идет прямо через Садахло. Я все помнил про девочку Карину. Но у меня есть правило. Оно для меня свято: на детей никого не обменивать. Если это допустить, будут красть детей. И так-то крадут.

Все-таки при каждом разговоре нет-нет, да и спрошу у *той* стороны: а как моя Карина? Мать в ноги: «Спаси!» А как? Боюсь ей напомнить, что прошло уже ведь два года — девочке теперь четвертый год. Для матери это все равно случилось «вчера». Я уж было совсем рукой махнул. Ну и найдут девочку — как доказать, что наша? Вдруг с той стороны один знакомый по обменам говорит: «Знаешь, Алик, все сходится. Нашли два года назад ребенка. Родителей нет. Но у нас условие: пусть мать докажет, что это ее дочка. Сообщит приметы. Так просто не отдадим». Мать, бедная, стала родинки перечислять. Я подумал — дело пустое. Но поехал. Решил, что первым войду. Оказалось, и родинки считать не надо было. Карина — вылитая мать. Зову. Кинулась мать к дочери, а та ей по-азербайджански: «Йох!» (нет!) — и ручонками тянется к нянечке, которая к ней как к дочери относится. Мать — в голос. Ребенок — тоже. Нянечка плачет. Она ведь сама мать и ту, другую, мать понимает. Но оттолкнуть ребенка не может. Вот так стоим и разрываем ребенка на части. Вся палата рыдает. С *той* стороны: «Слушай, кому это надо? Нам, азербайджанцам? Тебе, армянину?.. Это Москве надо!» Порешили, что это надо Москве», — на последних словах Восканян иронически улыбается.

В самом деле, кому это надо? Вот что я хочу знать вместе с Аликом и тем азербайджанцем, который все эти годы помнил про армянскую девочку по имени Карина.

«...Понесли ребенка в машину. Она кричит на своем азербайджанском языке и отгалкивает руками мать. В машине мать с превеликим трудом уложила девочку на руки. Заняв свое изначальное место, ребенок сразу затих и уснул. Мы все ахнули. Знаешь, говорят, сердечный ритм ребенка, лежащего в утробе, и сердечный ритм матери — едины. Так что, выходит, ребенок попал в свой природный ритм. Почему затихла?»

* * *

Еще один рассказ Альберта Восканяна.

«Едем с пленным на обмен. С нами мать того, на кого меняем. Погода стояла ужасная. Холод. Всю дорогу мать стережет азербайджанца как зеницу ока. Что-то в машине сломалось. Я кричу: «Ты что, не мужик? Иди помогай!» А мать ухватилась за него — и в слезы: «Не дам! Ты его простудишь, как тогда обмен?» Я все-таки настоял, чтобы не она машину толкала, а он.

Так она сняла с себя платок, обвязала ему голову и только тогда отпустила.

Пришлось заночевать в дороге. И тут она опять: спать будет рядом с ней. Мало ли что случится. За два дня такой опеки она привязалась к нему так, что слезы стояли в глазах, когда передавала его *той* стороне.

...Эх, надо бы вам при обмене поприсутствовать. Я заметил, что, если не видеть лиц и не слышать речи, не поймешь, где азербайджанец, где армянин — ведут себя одинаково. За детей благодарят одинаковыми поклонами и одинаковыми словами. Норовят к руке припасть, чтобы поцеловать. Жесты одни и те же. И взгляд одинаковый. Понимаешь, одинаковый взгляд. Это невыносимо!»

* * *

Боец грузинского военного формирования «Мхедриони» однажды сказал: «Войну начинать нельзя. У нее большой желудок». Он говорил это прикованный к инвалидной коляске. Художник-мультипликатор, сменивший кисть на «калашников», знал, что говорил. Но другая драма войны, не видимая воюющему, оказалась страшнее, чем то, о чем рассказал мне безногий художник...

В кабинете Алика Восканяна (служба безопасности Нагорного Карабаха) я прочла списки заложников — лиц армянской национальности. Это те, кто не принимал участия в военном конфликте. Огромное количество женщин. Среди них есть рождения десятого года. Значит, им под девяносто лет. Судьба их неясна. Будут ли они обмениваться или просто освобождаться? На столе Алика фотографии мальчика и его отца. Это совсем недавний случай, приключившийся в Ваденисе. Мальчик 1985 года рождения, Унанян Роберт, нес обед своему отцу, работавшему в поле. Взяли отца и сына. Желудок войны не останавливается, хотя формально война закончена.

...Альберт Восканян сделает все, что сможет. И даже то, чего не может. Я листаю книги, которые Алик штудирует усердно. Бог ты мой! Я даже не знала, что есть такая огромная отрасль знания, как правила войны. Об этом любопытно узнать, когда на каждом шагу встречаешься с бесправием.

Ну вот, например, любимая книга Альберта «Развитие и принципы международного права». Жан Пикте. 1993 год.

«Конвенция против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». 1984 год.

Как соблюдается эта конвенция на территории войны, мы узнаем с тобой, читатель, из детских сочинений, написанных в городе, который Манделштам назвал хищным.

«...Террористические акты, совершаемые в военное время, имеют иную юридическую коннотацию» — это про что же они, господа, пишут? Исчезновение армянского мальчика по имени Роберт какую имеет «юридическую коннотацию»?..

«Женевские конвенции» от 12 августа 1942 года.

«Запрет на акты террора в международном гуманитарном праве».

Альберт Восканян не разделяет моего скептицизма. «Я читаю все, что годится в дело».

* * *

Один из работников шушинской тюрьмы — потомственный бакинец. Двадцать лет проработал в правоохранительных органах Азербайджана. «Ну что? — спрашиваю. — Все оставили в Баку?» — «Ни за что! — вскрикивает армянин. — Мои друзья-азербайджанцы своевременно предупредили меня: пора собираться и уезжать! Быть бойне!» Достали машину, аккуратно погрузили все вещи своими руками. Машина тронулась. Крик: «Стой!» Остановились. Старый бакинец, обойдя пустой дом, увидел веник. Как сейчас вижу: он бросает мне в машину веник и произносит громко, в последний раз: «Якши йол!» (Добрый путь!) Хорошие друзья остались там».

* * *

Арлетта Шахназарова работала в республиканской больнице им. Ахундова в Баку. Ее история, как тысячи других. Азербайджанцы предупредили, чтобы Арлетта не ходила на работу, когда смута только начиналась. Жила, считая каждую секунду, за которой могла наступить смерть. Хлеб покупал сосед. Фарс. Он и спас Арлетту.

«Вот вам и кавказский синдром, — врывается в рассказ одна интеллигентка, — понимаете, он спас ее, армянку, потому что был ее соседом и делил с ней хлеб и соль, но это не помешает ему на другом конце города убивать армян».

Арлетта молчит, а потом с необычайной силой произносит: «Нет, он не может убивать нигде, этот мой сосед. Ни-где! И ни-когда! И ни-ко-го!»

Арлетта — учительница из Шуши.

* * *

Учителю математики Гурену Налбандяну 35 лет. Воевал. Четверо детей. Ходит с палочкой. У меня к нему вопрос. Тот самый, что я задавала в Цхинвали, в Сухуми, в Грозном: как после всего, что видели дети, можно говорить как ни в чем не бывало про тангенсы и котангенсы? «Они уже другие, — говорили мне учителя в “горячих точках” о детях. — Их опыт начался со смерти и разрушения».

«А я их заблуждаю, — отвечает Гурен. — Другого пути нет». Хочу понять, как тяга к заблуждениям сочетается со страшными картинками его собственной жизни. «А никак! Просто дети ни в чем не виноваты». Мать Гурена сожгли. Отец хотел перенести в дом то, что осталось. Взяли в заложники с четырьмя сельчанами. Ни слуху ни духу — какой уж год! Я записываю данные — чем черт не шутит! Гурен отбирает тетрадь и своей рукой вписывает фамилии отца, матери. Место трагедии. Число. Так в моей тетради рукой Гурена написано: «Это было 1992 года, 13 июня». Во всех «горячих точках», где никому никакого дела нет до мирного населения, существует неистребимая тяга непременно самому оставить запись об отце, матери, сыне, брате. За пять лет своих блужданий по ним я уже усвоила тщетность подобных занятий, но упорно продолжаю писать сама и подставляю другому свою тетрадь. Как сказала моя подруга Нэля Логинова: «Когда нас низводят до молекулы, все равно остается одна функция: передать другому сигнал о себе». «Я уж к Фантомасу обращался. Он тоже ничего не может».

Есть, оказывается, такой промысел на войне — торговать людьми. Много каких занятий вырастает на войне. Фантомас в Шуше известен всем. К нему и его занятию относятся так же спокойно, как к делам Грачева.

...Имя генерала Громова лучше не произносить в Нагорном Карабахе.

...Имя Сергея Шахрая одинаково плохо звучит всюду.

...Просят рассказать о русском полковнике Иванове, спасшем многие жизни.

ДЕТИ ШУШИ

«Я родилась в Степанакерте и жила пять лет. Когда началось это движение, мама отвезла меня в Ереван к дяде. Мать с младшим братом остались под “градом” в Степанакерте.

Город бомбили. Мама с братом жили в лесах. Спали на траве. А в Ереване мы голодали. Света нет, газа нет. По талонам полхлеба и картошка.

Отца ранили. Увидев его на костыле, я поняла странное поведение мамы: она от меня скрывала.

В один воскресный день я шла на молитву. Во дворе все были грустные. Я поняла почему. Меня перевезли в Степанакерт. Город начали бомбить. От каждого удара бомбы я синела и у меня отнимался язык. Отец ушел на позиции».

Аванесян Кристина, 15 лет

«26/1 92 г., когда напали азербайджанские омовцы на Карин-Таг — это самый тяжелый день в моей жизни. Однажды мы поднялись на высоту и оттуда посмотрели, как азербайджанцы бомбят Степанакерт. От установки “град” погиб мой отец. 19 февраля. Через год 6 августа мой младший брат был ранен в глаз. В ту же ночь из Агдама бомбили Степанакерт. Когда освободили Шушу, мы вернулись в дом деда. Сейчас его восстанавливаем».

Гагик Багерян, 15 лет

«В 1992 г. в июне мы стали скитальцами. Вместе с нами скиталась наша бабушка. Она все время плакала. Когда мы уходили из дома, она посмотрела на оставленный очаг и сказала: «О, Господи! Помоги моим детям».

Оказалось, что худшее было впереди.

Я видела, как люди бросались в реку от озверелых азербайджанцев. Кто умел плавать, плыл, кто не умел — просил у Бога пощады. Один ребенок упал в воду. Мать вскричала и блуждающим взглядом смотрела по сторонам. Казалось, она сошла с ума. Но это было мгноление. Вдруг как сумасшедшая она стала бежать по течению реки за ребенком. А ребенка кидает с камня на камень. Появился русский солдат. Он бросился в воду и боролся с пеной. Мы на все смотрели с ужасом сверху.

Ребенок в руках солдата. Они на берегу. Ребенок был мертв. Я запомнила именно это».

Мирзабекян Нунэ (7-й класс)

«Я родилась в Баку. Училась только в первом классе. Потом мы спасались. Приехали в Кировакан. Попали под землетрясение. Переехали в Карабах. Через два года мой отец погиб в Мардакерте. Это было 6 января 1994 года.

Он оставил шестерых девочек. Мы играли во дворе. Я слышу крик. Когда вошла в дом, бабушка говорит: «Жизнь моей дочери искалечена». Что случилось? Дядина жена сказала: «Ничего не случилось». Но я вспомнила один случай: когда погиб брат отца, тоже говорили, что ничего не случилось. Я поняла, что мой отец умер. Я упала в обморок. Уже больше года я не произношу слово “папа”. Тем, кто такого не видел, я пожелаю не видеть этого никогда.

После смерти моего дяди родилась его дочка. До смерти он кольцо оставил жене. Это единственная святыня в доме. Дети целуют кольцо. Моя бабушка потеряла двух сыновей».

Аванесян Сусанна (9-й класс)

* * *

У ч и т е л ь н и ц а: Поговорим о смысле жизни.

У ч е н и к: Сейчас пролетит самолет, не будет ни смысла, ни жизни.

(Из разговоров на уроке)

* * *

Они падали в обморок, узнав о смерти отца.

Они синели от страха и теряли дар речи.

Они научились терпеть и ждать смерти.

Они помнят, что было с дедушкой и бабушкой, братом и сестрой, тетей и дядей, соседом и другом.

Они знают, что умер не просто отец, а сын бабушки и брат тети.

Они научились читать пуганые слова и молчание взрослых, тайный смысл знаков и жестов, которыми обмениваются близкие.

Они знают, чем отличается снаряд от бомбы.

Они — это дети Карабаха, в душах которых ночь, если верить учительнице, потерявшей на войне сына. Если ночь, то откуда такая сила взора, жажда учиться и помнить?

Откуда такая сила молитвы, от которой меня, взрослую, бьет дрожь?

* * *

...На ночь Вероника Восканян ставит своей внучке пластинку с армянской пронзительной мелодией о журавле. Это была колыбельная для сына Алика. К этой музыке бессознательно потянулась дочь Алика Лилия. «Как она это узнала?» — спрашивает меня Вероника в ночи. В ночи, потому что нет света. Какие бы снаряды ни свистели, нить жизни, хоть и прерываясь, тянется дальше, обретая в потерях силу, в горе — мудрость и стойкость.

* * *

У соседки плачет ребенок. Я — бегом, унять плач. Лиза, мать ребенка, не торопится. «Пусть плачет. Я послушаю. Плач ребенка для армянина — радость: значит, ребенок жив!»

* * *

«Знаете, что было самым страшным, когда мы вышли из подвалов? Мы узнавали друг друга только по голосам. «Карина, это ты?» — «Ах, Соня, неужели это ты?» Мы враз изменились. Ничего страшнее не бывает» (из рассказов пенсионерки К. Г.).

...На четвертом этаже дома, где я живу, тихая свадьба. Это значит — без веселья и музыки. Год назад у тетки жениха погиб сын. Любовь Нерсесовна, мать погибшего, в черном. Учительница. Завуч школы. Сын родился 1 сентября. Кому день знаний, а кому — день кладбища. И так каждое 1 сентября. Пока будет жива. 1 сентября — день кладбища. Мать жениха остановилась у портрета племянника: «Там ведь тоже такой сын», — показывает в сторону соседа. Сосед — Азербайджан.

* * *

Иду по Степанакерту. Высоко, на уровне девятого этажа, протянулись веревки — от дома к дому через всю улицу. На кусках материала, прикрепленных к веревкам, огромными буквами написаны какие-то слова. Сначала я решила, что это реклама. Потом, собравшись с духом, прочла: «Гагик, 19 лет», «Хачик, 20 лет», «Гурген, 23 года», «Славик, 29 лет». Небо переплетено проводами, с которых взывает смерть. Взывают погибшие. Я не могла смотреть на небо. Карабахцы видят и погибших, и звезды. Они увидят и Хачика со Славиком, и звезду, даже если их самих настигнет смерть.

* * *

Возвращаюсь затемно. Не могу найти свой дом, хотя ориентир, выданный хозяйкой, хоть куда: «Спрашивай аптекин дом», — ну, то есть дом, где аптека. Из-за угла выныривает мужичок. За спиной болтается рюкзак.

— Где был?

— На огороде.

— Далеко?

— Километров пятнадцать.

— А чего рюкзак пустой?

— Знаешь, посадил огурцы, помидоры — все погибло, — улыбка до ушей. Может, я что-то не поняла?

— И ничего не осталось?

— Почему не осталось? Осталось. А знаешь, если честно, ничего не осталось.

Вот так и стоим вдвоем и смеемся. Здесь, в Нагорном Карабахе, этот дурацкий смех много значит: «Мы живы! Мы ведь с тобой и взаправду живы!»

* * *

— Виктория, смотри, горит дом. Пожар! — это я кричу что есть мочи. Густой дым валит с четвертого этажа. А на пятом стоят юноша с девушкой и мирно беседуют.

Приходит Виктория.

— Это не пожар, Эльвира. Просто на четвертом этаже готовят обед. Печка дымит. А те, кто на пятом, привыкли. Подумаешь, дым! Они ведь останутся живы... Чего же им волноваться?

Они останутся живы... Дай-то Бог!

* * *

Моя хозяйка Виктория говорит, что находились армяне, которые пытались свой угол в подвале оклеивать обоями: вдруг придется жить не один год? Это про карабахцев говорят: «Храбрые уехали. Остались те, кто ничего не боится».

Они и в самом деле ничего не боятся.

* * *

Соне, внучке Хачатура Григоряна, участника Великой Отечественной войны, было двенадцать, когда началась война. Живет в Мартуни. Мы встречались с ней в Степанакерте, в доме ее деда.

— Сначала было красиво, — говорит она, — ведь не понимаешь, что смерть пришла за тобой.

— Что — красиво, Соня?

— А что вас интересует, снаряд или бомба?

О господи! Я не об этом. А она — ОБ ЭТОМ.

— Соня, было желание уехать?

— Нет, я поняла, что надо терпеть и ждать.

— Чего ждать, Соня?

— Смерти. А что еще может быть? Когда убили соседей, я подумала: а чем мы лучше? Они были такие же армяне, как мы. И мы можем погибнуть.

— А бежать?

— Некуда. У нас другой земли нет. Только эта.

В другой раз Соня сказала:

— Когда турки начали бомбить...

— Какие турки, Соня? Это что? В пятнадцатом году?

— Да, и в пятнадцатом, и сейчас.

Говорит так, словно пятнадцатый год прожила точно так же, как девяносто второй.

«Каждым выстрелом враг напоминал нам, что мы — армяне» — это она сказала мне на прощанье.

Взрывается национальная генная память. Войны, которые здесь ведутся, почему-то называются локальными. Психологические же последствия — **ТОТАЛЬНЫ**.

* * *

— Что это такое? — спрашивает Алик свою дочь, показывая на ереванский троллейбус.

— Это чижелый танк.

* * *

Теперь я точно знаю, что буду видеть перед смертью, если память мне не изменит. А увижу я вот что: ложбина меж гор. Ослик, идущий по шаткому мосту, и горсть редиски, политой слезами, в руке армянина.

В эту ложбину привел меня Алик Восканян. «Вот вам сюрприз перед отъездом», — и показал на источник, из которого била вода. Это был натуральный нарзан. Отец Алика в прошлом — буровой мастер. Вся жизнь и все силы отданы каспийской нефти. Ловильный мастер — это тот, кто умеет провести свароч-

ные и прочие работы на большой глубине. Помимо точного расчета нужна особая интуиция на поведение механизма под водой. Завен, отец Алика, прибыл из Баку в Нагорный Карабах добывать воду. Десятки артезианских колодцев, прорытых в Карабахе, это его дело. Я бродила по Степанакерту с Завеном, изумляясь его слуху на то, что невидимо скрыто в глубинах земли. Нарзанный источник — детище Завена.

...День быстро сменился тьмой. С гор медленно сползал груженный мешками ослик. Рядом шел мужчина с хворостиной. Мы поравнялись. Узнав, что я русская и приезжая, мужчина начал судорожно развязывать мешок. Извлек горсть редиски и протянул мне. Ему показалось мало, и он опять полез захватить редиски как можно больше. Я-то уже знала, что такое в этих местах горсть редиски, и, чтобы продлить встречу, начала расспрашивать про жизнь. Путая русские слова с армянскими, мужчина рассказал мне о смерти сына. Убили в бою. Теперь они с женой — одни-одинешеньки на всем белом свете. Он что-то еще хотел мне сказать, но слова не слушались, и вдруг, остановившись на полуслове, он заплакал. Он утирал слезы рукой, в которой только что держал редиску, перепачканную землей. Эта земля уже покрывала щеки, а слезы лились и лились. На глазах он превращался в немощного старика. Потом, видимо, понял, что не сумеет мне рассказать, как хотел, и, слабо махнув рукой, пошел по узкой тропе между гор, погоняя осла. Я долго смотрела ему вслед. Он свернул с тропы, и гора прикрыла его от меня. А в голове все тот же вопрос: стоила ли независимость жизни ЭТОГО ЮНОШИ, сына ЭТОГО крестьянина?

...Это всегда так, когда уезжаешь из Нагорного Карабаха. Только настроился на философски-отстраненный лад, заглядевшись на горы и звезды, а — какая-нибудь нечаянная встреча с человеком на дороге опалит тебя таким подлинным, истинным, непереносимым горем и так сожмется сердце, что весь следующий год ты только и живешь ожиданием новой встречи с Карабахом, чтобы утолить печаль свою, которая никогда не кончается. Неужели это и есть судьба Карабаха? Неужели?

ПУТЬ ДОМОЙ

И дернул же меня черт из Нагорного Карабаха ехать в Тбилиси через Кировакан. Ровно в полночь автобус остановился около здания с выбитыми стеклами, незакрывающимися дверями. Это — вокзал. В помещении, продуваемом насквозь, одно-

ко торчали две-три фигуры — не то тени, не то люди. Впервые за всю мою длинную дорогу стало не то что страшно, а как-то жутко. Жутко от мысли: неужели в моем возрасте, на мои жалкие гроши только так и можно проводить свой отпуск — от одной «горячей точки» до другой? Кто и что меня остановит?

Холод пронизывал не по-осеннему. Наконец читаю: «Комната длительного отдыха». Дверь открывает дежурная. Ее зовут Гоар. Я «рифмую»: Гаспарян (интересно, где сейчас эта певичка, жива ли?). «Хочешь кофе?» — широко улыбаясь, спрашивает Гоар, еще не зная, кто я и откуда. В маленькой комнатке-дежурке спит мальчик лет пяти, Армен. Мы «рифмуем» вместе: Джигарханян. У стола — молодая женщина. Красивая, с печальными глазами. Зоя — дочь Гоар. Мать продолжает игру. «Да, Зоя... Космодемьянская?» Я знаю потаенный смысл этих игр на дорогах войны. Это и не игры вовсе. Это одна из форм сообщения друг другу ВЕСТИ: «Мы знаем и любим друг друга. Мы когда-то были вместе... Целой страной... Не может быть, чтобы мы не помнили друг друга».

Зоя живет в приграничном районе. Там до сих пор обстреливают. Сюда приехала к врачу. «Знаешь, все болит». Это слышишь всюду. Повернуться негде. Но я уже знаю, ПОЧЕМ армянское долготерпение. «Иди ложись. Извини, света нет. Нет воды. Туалета тоже нет». — «Но ведь мужской работает? Я сама видела!» — это я взрываюсь. «Да, он не работает, когда там мужчина. И работает, когда там мужчины нет. Поняла?»

Я поняла все.

В комнате настезь открыто окно. В темноте наваливаю на себя груды грязного тряпья и обнаруживаю такую же кучу рядом. Часа в два ночи куча зашевелилась: «Елцин какой месяц выбирают?» О господи! «Кажется, в декабре», — выпаливаю я, перепутав с другими выборами. Через полчаса из кучи доносится: «А наш Петросян, какой месяц будет?» Не знаю, господи! Да какое нам дело, дорогая Ася из Алавердского района, какое дело нам до них всех? При любой власти ты, библиотекарь, будешь ездить в Кировакан продавать мацони, надеясь получить лишние пять-сот рублей. Я буду так же скитаться по «комнатам длительного отдыха» без воды, туалета и света.

Раннее утро. Еще темно. «Тебе нравится твоя работа?» — спрашивает Ася. «А что плохого?» — «Сегодня Армения, завтра Грузия... Так можно?» — «Я умру, Ася, если закроют границы. Я умру, если это не будет можно». — «Тебе есть сорок?» — вот на этом радостном вопросе, пока не рассвело, я расстанусь с тобой, Ася.

Прости, что я закрыла окно, не заметив банок с мацони. Во мне — Гоар и Зоя с Арменом. Во мне — Ася. Во мне Кировакан, перевитый проводами, по которым идет «левый» свет. Во мне все, кто встретились на дорогах.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА — ВОЙНА

ЧЕЧНЯ. ГОД 1995

Когда 7 апреля 1995 года бомбили Самашки, я знала, что в свой отпуск отправлюсь прежде всего туда. До осени мне ничего не оставалось делать, как достать с полки «Хаджи-Мурата» и читать. Но и тогда мне казалось, что мой любимый Толстой **выдумал** Хаджи-Мурата.

В повести есть пронзительной силы эпизод, рассказанный самим Хаджи-Муратом. Он смертельно ранил одного мюрида, и тот сказал ему: «Ты убил меня. Мне хорошо. А ты мусульманин, и молод, и силен. Прими газават. Бог велит».

«— Что же, и ты принял? — спросил Лорис-Меликов.

— Не принял, а стал думать, — сказал Хаджи-Мурат».

Где же они, **думающие** горцы? Так размышляла я дома, уставившись в экран телевизора, на котором пляски смерти сменялись орущей толпой с портретом Джохара Дудаева.

Было еще одно обстоятельство, которое вынуждало меня медлить с поездкой в Чечню. Это мои грузино-абхазские впечатления 1992—1994 годов. Находясь в заблокированном Сухуми в октябре 1992-го, я сполна испытала то, что называла про себя чеченской угрозой.

По телевизору не раз выступал мятежный генерал с обещанием взорвать Тбилиси. Но самым моим главным «козырем» против Чечни стало горе одного грузинского отца по имени Сулико. Он потерял сына, российского студента из Екатеринбургского лесотехнического института. Вахтанг добирался до Сочи судном российского подчинения. Отец и сын поверили заклю-

ченному в Москве 21 сентября 1992 года перемирию. Недружественное рукопожатие Шеварднадзе и Ардзинбы было скреплено рукой российского президента. Это гарантировало жизнь. Так думали отец и сын. Бедные люди, они тогда еще не знали, что никакой официальный документ ровно ничего не значит, когда дело доходит до судьбы отдельного, конкретного, частного человека.

В Пицунде на корабль «вошли люди Чечни», как изволил выразиться капитан в докладной, и выбраковали людей по национальному признаку. Впервые тогда я услышала слово «чистка». Речь шла об этнической чистке. С этими чистками я столкнулась лицом к лицу в Южной и Северной Осетии, Абхазии, Ингушетии, Нагорном Карабахе. Об этом говорят спокойно, прямо и открыто.

Так вот: «люди Чечни», по всей видимости, уничтожили мальчика из Екатеринбурга, сына грузина и русской женщины. В течение шести лет (теперь уже седьмой пошел) я делаю отчаянные попытки найти всего-навсего одного человека. Помочь всего-навсего одному отцу. Но фраза капитана российского судна о «людях Чечни» вьелась в мою кровь, породив сложное отношение к войне. Помнится, я не раз публично говорила, что, оставшись равнодушными к горю грузинского отца, мы, русские, пожнем свое горе. Это только кажется, что войны носят локальный характер.

В октябре 1992 года в доме великого режиссера Тенгиза Абуладзе я произнесла жуткую фразу: «Ну, подожди, Россия, дождешься и ты своего часа». Меня тогда потрясла реакция погранслужб на пропажу людей с российского судна. Капитан докладывал о варварском обращении с ним, членами экипажа и пассажирами.

И что же российские пограничные власти?

А — ничего! Ответ: следуйте своим курсом.

Уже тогда был сговор боевиков с федералами?

Война, как я понимаю, началась не в декабре 1994 года. Она началась и развивалась при нашем участии уже в 1992 году, по крайней мере.

Да, каюсь! Я не могла забыть ни Сулико, ни его сына, ни сотен женщин из Сванетии, искавших своих мужей и сыновей.

А чаще всего я вспоминала годовалого мальчика по имени

Шалва, сына грузина и русской женщины, бежавших из Сухуми через Чуберский перевал.

Резо Ломидзе, шофер из Сухуми, вышел из родного дома со всем своим семейством (малые дети, старики) 27 сентября 1993 года. Ударили морозы. Шалва, которому было два месяца, замерз. Не было ножа, чтобы вырыть могилу. Положили ребенка в хозяйственную сумку и пошли дальше горе мыкать.

Инга, жена Резо, рассказывала мне: «Второй ребенок держится за подол, в руках сумка с Шалвой. Так и шли до Сакени. На дороге встретился сван. Разжег нам костер. Сидим греемся. Сумка у меня на коленях. Через час сумка зашевелилась. Дэда (мама)! Что же это?! Открыли сумку — ребенок улыбается. Живой. И что ты думаешь? Я обрадовалась? Нет! Мне стало страшно. Уж не видение ли это мне? Ночь. Костер. И шевелящееся тело под моей рукой».

Режиссер Миша Чиаурели, внук великой Верико Анджапаридзе, снимал Резо в тот момент, когда он оплакивал свою племянницу, выросшую в его доме. Она не выдержала дороги. Умерла.

«Знаешь, что самое страшное в пути? Невозможность похоронить близкого. Дети не понимают, почему мы труп оставляем и уходим. А как объяснить?» — спрашивает меня Резо.

Я не знаю, как это объяснить.

С семейством Инги и Резо я встретила в Гори, в жуткой пятиэтажке, набитой беженцами. Приближалась годовщина исхода грузин из Сухуми. На подоконнике — портрет погибшей. Когда детям дают конфеты, они их прежде несут к портрету.

Шалве уже год. Я трогаю тельце мальчика и все винюсь и виноватуюсь, как говаривали в моей деревне. Что же делала я в тот час, когда замерзал и воскресал из мертвых Шалва? Что?!

Я знала, что все равно поеду в Чечню, но продолжала медлить с отъездом.

...В начале сентября 1995 года я попала на съемку фильма «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара» с Пьером Ришаром в главной роли. Снимала фильм моя знакомая — режиссер Нана Джорджадзе по сценарию своего мужа Ираклия Квирикадзе.

Грузинскую княжну, в которую влюбляется пылкий французский кулинар, играла Нино Киртадзе, — сотрудница одного из крупнейших зарубежных агентств. Рыжая красавица парила в

мягких лайковых сапожках, в белом кисейном платье. Это ее первая роль в кино.

В перерыве между съемками я разговорилась с Нино.

Вдруг Нино сказала: «Иногда мне все это кажется таким ирреальным, что хочется все бросить, потому что настоящая реальность, где ты сейчас должен быть, — это Чечня».

Вот это да!

Нино бывала в Чечне и до войны, и в самый разгар. Так как же, Нино, вы можете сочувствовать чеченцам? Неужели не помните отряд Шамиля Басаева в Абхазии? Неужели?

Вот тогда я и услышала эти слова: «О чем вы говорите, Эльвира? Те, кого я видела, боролись за свою свободу точно так же, как мы. Я никогда не забуду, как они молились перед боем. На экране телевизора их пляска нелепа и зла. Но когда ты видишь конкретного чеченца, дающего клятву умереть за свободу, ты не просто ему сочувствуешь. Ты знаешь, что он **прав** — вот в чем дело. Вы говорите о чеченцах-наемниках в Абхазии? Ну и что? Наемник нации не имеет. Думаете, среди тех, кто воевал против Грузии, не было грузин? Я и сейчас это вижу: пляска-клятва на закате солнца. Гибкие руки взметнулись к небу... Меня туда тянет. У моих друзей-журналистов чеченцы не раз спрашивали: «А где ваша рыжая? Почему она не едет?» Иногда я жалею, что согласилась сниматься...»

На следующий день я не явилась на съемки и предполагавшийся разговор с Пьером Ришаром. Я ехала в Грозный. В первые сентябрьские деньки, хотя меня предупреждали, что ехать надо после Дня чеченской независимости. Но мне было так стыдно за свое промедление, что именно к этому дню я рванула в Грозный.

На пути приключилось одно событие, которое надолго выбило меня из колеи.

МОЛЬБА

Это случилось в Плиево — одном из двадцати палаточных городков для беженцев. Всего в Ингушетии беженцев свыше шестидесяти тысяч.

Проводник мой по городу — ни много ни мало генерал Башир Аушев. Он совершал плановую поездку по городкам. В первый день приезда в Назрань я случайно наткнулась на один из вагончиков, примыкающих к административно-хозяйственному блоку Совмина. За столом сидел генерал без охраны. Рабочий

день генерала заканчивался. Белоснежная рубашка. Отменные манеры. Прекрасная русская речь. Ясная мысль и ясная воля — так бы я определила суть молодого генерала. Время, когда я увидела генерала, не было простым. Он снят с должности министра внутренних дел и переведен в комитет по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. Про опалу генерал предпочитал не говорить, хотя свое понимание ситуации у него было. Ну временный комитет — так временный комитет.

Он не хотел меня брать с собой. Ему надоели приезжающие из разных мест. Толку никакого нет, одна говорильня.

К концу нашей беседы он сменил гнев на милость. Выезд был назначен на завтра в 9.00. В 8.55 генерал сидел в машине.

В нашем городке — больше трехсот человек. Разница между реальными и зарегистрированными беженцами такова, что семья из восьми человек может получить еду только на пятерых или даже четверых. В нашем городке 222 ребенка. Босых. Голых. Полуголодных.

Я начала свой путь по городку с административного здания бывшей птицефабрики. С комнаты на третьем этаже. Смотреть на людей в тридцатиградусную жару в раскаленном вагончике невыносимо. Судьбе было угодно привести меня в семейство Темебербиевых. Никакими впечатлениями жизни не унять моего потрясения. Я буду видеть это всю жизнь.

Если ты, читатель, боишься, пропусти несколько абзацев. В самом деле, зачем тебе-то мучиться этой картиной...

У табуретки, на которой тарелка с остывшей лапшой, сошлись инвалид безногий, двухлетний резвый малыш, его мать-горбунья, даун с шестью пальцами и высохшая старуха, вдова участника Великой Отечественной войны. Извлекаются ордена, медали. Орден Красной Звезды попадает в мои руки первым. Листаю военный билет Темебербиева Ахмета. Из тряпья продолжают сыпаться медали. Смешиваются с остатками слипшейся лапши.

Первый раз они бежали на бэтээре из Владикавказа в Грозный, заплатив за проезд всеми своими сбережениями. Потом они бежали из Грозного в Назрань. Но прежде безногому инвалиду придется оказаться в заложниках. «Я неходячий. Меня бросили в мертвецкую. Там, среди мертвых, я и сидел».

Средств на жизнь — никаких. Теперь у семейства только ордена и медали погибшего отца.

Как же, интересно, мчались они на бэтээре — безногий и даун? «Вцепились друг в дружку, так одним клубком и въехали в Грозный», — это вдова.

Потом я много чего увижу, но уже никогда ни одна встреча не выбьет из моей памяти семейства сирых и убогих людей, взиравших на меня с мольбой о помощи. Ничего, кроме мольбы, в их глазах не было. Они так и не поняли, что с ними происходит уже четвертый год. Им не до осознания. Им бы выжить в самом первом, изначальном смысле этого слова. Им все кажется, что кто-то однажды скажет им: «Все! Хватит! Аллах испытал вас. Все будет хорошо». Но никто не приходит и ничего не говорит.

...Между двумя вагончиками натянуты грязные тряпки — так отделен от семейства больной туберкулезом в последней стадии. Вхожу за тряпье и вижу задыхающегося от смертельного кашля мужчину. «Вот умираю. Если не брезгуете, посмотрите». Нет, не брезгую. Смотрю.

* * *

Жить мне негде. Случайно попадаю в президентский гостевой дом. Сауна. Ковры. Телевизоры. Туалеты. Никаких предписаний быть здесь у меня нет. Я жду, когда дом затихнет, чтобы занять место на полу. Но и в поздний час в доме суета. Ждут прибытия важного гостя. Сегодня этот гость — Михаил Лапшин из Аграрной партии. Радетели за народное счастье все лето в путешествиях. Из кухни доносится запах мяса. Хочется есть.

Выхожу во двор. Со стороны стадиона доносится голос певицы Азизы. Она посвящает свои песни беженцам. Значит, и семье Темебербиевых — проносится в моем мозгу. Стадион гудит. Мне начинает казаться, что мы все живем в какой-то вторичной реальности, созданной из знаков, мифов, символов, клише, а подлинная, истинная жизнь со своими всамделишными страстями, исконным горем и страданиями проходит параллельно, не затрагивая нашего сознания.

Мы встречаемся или не встречаемся с Михаилом Лапшиным. Поем песни про беженцев, которые их никогда не услышат, потому что несчастные люди тихо умирают в своих вагончиках. Стоят порушенные артиллерией дома, а где-то идет денежный дождь на восстановление разрушенного. Это ощущение усилилось, когда я услышала, вернувшись из Плиево, выступление Бориса Ельцина по телевидению. В ночных «Вестях» президент возмущался массовым нарушением прав человека в Боснии.

Обещана большая гуманитарная помощь. Это какая? А в Плиеве — какая?

Из дурацкого оцепенения меня выводит голос Олечки, помощницы одного из депутатов Госдумы. Она совершает вояж по Ингушетии. Вышла из сауны и любопытствовала: «Вы, дорогая, еще не были в Грозном?» Не дождавшись ответа, зашебетала: «Знаете, я там не была. Но, говорят, это чистый Тарковский. Представляете, дома нет, а, допустим, есть одно окно. Вот оно и висит в пространстве. Почти как кровать. Вы помните этот кадр в фильме “Зеркало”?»

Кто-то заметил, что кривые зеркала имеют свою эстетику. Тем не менее пошлость — она всюду пошлость. На войне тоже.

Щебетанье Олечки прерывает голос администраторши: «Не забудьте рассчитаться. Сутки пребывания в нашем доме стоят пятьдесят тысяч». Я провожу подсчеты. Рано утром, пока все спят, выхожу в другую дверь, прихватив все свои пожитки. Всю ночь мне снился мчащийся на бешеной скорости бэтээр с дауном и безногим инвалидом.

САМАШКИ

Чечня действительно оказалась *другой*, совсем не такой, как в моем искривленном сознании. Прости меня, Чечня, прости! Но начать свой рассказ о Чечне я хочу с Самашек. Моей боли и стыда. *Позор российский — вот что такое Самашки.*

Добраться до Самашек трудно. Кое-как попала в Ачхой-Мартан. Я искала школу. Стоял жаркий сентябрь. В школе № 3 работали строители, хотя и было воскресенье. Всюду в горячих точках отношение к работе особое. Именно работа, какой бы тяжелой она ни была, возвращает человеку его нормальное состояние. Он тянется к работе, как к глотку свободы и надежды на жизнь без войны.

Работа в школе № 3 кипела вовсю. Директор Осмаев Хасмагомет Хасанович, преподаватель истории, кипятил чай для рабочих. Его взгляд на войну — особая статья, но именно здесь, в кабинете Хасмагомета, я услышала слова: «Война сделала свое дело». Он это говорил и как учитель, и как историк. Предупредил: в Самашки дороги нет. Но ничуть не удивился, почуяв мою решимость добраться до Самашек.

Мы пошли на базар перекусить. И тут я была поражена отношением чеченцев ко мне, русской. Их природная гордость не позволяет предаваться унынию. Они держатся из последних сил.

Да, ты русская, но ты гость, и мой долг забыть о счете, который я могу тебе предъявить. У горца особый слух на фальшь. Когда я позволила себе сказать, что, возможно, взялась бы так же, как чеченцы, за оружие, сидящие за соседним столиком закускойной юноши прервали мое словопрение:

— Вы неискренни, мадам... Против кого вы стали бы воевать? Против войск своего отечества? Или как вы себе представляете эту ситуацию с оружием в руках?

И хотя в тот момент я была искренна абсолютно, ощущение общей фальши чеченец зафиксировал точно. Я научилась взвешивать и свое чувство, и свое слово.

Потом мы пошли с Хасмагометом к мосту, и тут я увидела двух молодых бородачей с автоматами.

— Кто это? — спросила я.

— Боевики, — ответил директор.

— А с ними можно поговорить?

— Отчего же нет?

Боевиков окликнула я. Подошли два парня лет двадцати пяти — тридцати. Прекрасные лица, отличная русская речь. Один из них бывший лесничий, другой — шофер.

Вот здесь-то, на мосту Ачхой-Мартана, началось мое постижение *странной* войны, которая ничего общего не имеет с официальной версией. Это было время сдачи оружия. Тот, что лесник, почти со слезами на глазах говорил мне:

— Я сдал свою «муху» — вы это можете понять? Но я в нашем Ачхой-Мартане назову вам с десятков шакалов, которые закопали оружие в огороде с ведома федеральных властей. За бутылку водки можно договориться с кем угодно и о чем угодно. А я должен сдать свое последнее оружие. Как я буду защищать свой дом? Вы знаете, что это для горца-мужчины — не мочь отстоять свой дом? Вообще ничего не понятно: кто с кем договаривается и о чем...

Нет, не было у этого лесника, ставшего боевиком, ненависти ко мне, русской. Он все еще отделял меня, частного русского человека, от политической российской машины. Но запас веры был на исходе.

Это было заметно. Каким встречу я тебя, Магомет, осенью 96-го года, когда снова приеду в Ачхой-Мартан? Каким?

Жив ли ты, Магомет?

До Самашек добираюсь тайными тропами. Автобусы в Самашки не ходят.

Так вот они какие, эти Самашки...

Это село называют Хатынью, как и поселок Дачное в Северной Осетии.

Что же с нашим сознанием произошло, если мы называли Хатынью **российское** село, взорванное **российской** авиацией? Недавно слушала по телевидению выступление секретаря Совета обороны Юрия Батурина. Образованный, интеллигентный человек. Глаза, спрятанные за темными стеклами очков. Вкрадчивый, осторожный голос вещает об исторических аналогиях: Ирландия... штат Пенджаб... Неужто он не знает, не нашел слова для Самашек? Неужто не будет найдено это слово?

Первое горе, с которым я столкнулась в Самашках, звали Асмой Махмудовой. 7 апреля, когда федеральные силы оповестили жителей о предстоящей бомбардировке, Асма отправила своего пятнадцатилетнего Руслана пригнать телят. Ракетно-бомбовые удары начались по местному времени, а жители Самашек вели счет времени по Москве. Руслан погиб. Погибли телята. Муж Асмы Ширвани (1949 года рождения) 8 апреля сидел в подвале. Потом попал в фильтрационный лагерь. Отбили почки. Прошел лагеря Ассиновки, Моздока. Через лагерь прошло огромное количество мужского населения — чеченцев, ингушей. Это те, кто не взял в руки оружие, но попал под подозрение. Опыт лагерей — только отрицательный. Это еще Варлам Шаламов заметил о лагерях. Наших. Концентрационных. Пока мы разговариваем с Асмой, на базарной площади собираются люди. Еще одно горе.

...Мать ушла в поле убирать кукурузу. Сына оставила дома, боясь, что он подорвется на mine. Он подорвался в своем огороде, пока мать была в поле.

Здесь-то я и услышала новое для себя сочетание: «миновали поле». Прошли поле? Нет! Заминировали.

Постоянно до меня доходит скрытый грозный смысл разрушений. Чеченец смотрит на корячащийся остов своего дома и думает: откуда еще может прийти смерть?

СЕСТРЫ УМАРОВЫ

Их восемь. И один брат. Я познакомилась с тремя сестрами: Луиза, Лиза и Седа. Первые две — учительницы. Третьей десять лет. Седа по-чеченски — звезда. Здесь, в доме Умаровых, я поняла, что Толстой был прав. Чеченец **думает**. Думает о своей личной судьбе. О судьбе своей многострадальной Чечни. О своей истории. И о России думает тоже.

Как и повсюду в Чечне, в Самашках люди не верили, что война войдет в их дома. Это вообще странное явление. Много раз, находясь в заблокированных местах, я замечала, что до самого конца человек полагает, что чаша сия его минует. Что за этим стоит? Беспечность? Инстинкт самосохранения? Биологическая вера в чудо?

На прекрасном русском языке девушки невиданной красоты рассказывают, что не успели воспользоваться коридором для выхода из села. Они пробрались в цокольное помещение дома дяди. Набилось человек сто, от грудного ребенка до старика.

— Знаете, — говорит Луиза, — какая жуткая мысль приходит в подвале? Страшно подумать, но она такая: лишь бы не было раненых. Пусть будут убитые, но раненые!.. Им помочь нечем. Хотите знать, как работает психика на грани срыва? Как в одно мгновение рушатся все прежние представления... Неужели это я совсем недавно говорила своим ученикам о русском солдате, о символах русской чести?..

— Мы знали, — отвечает она на мой вопрос, — что село окружено. Но никогда не думали, что нас будет бомбить авиация. Сначала обстрелов не боялись. Но когда появились самолеты... Знаете, что такое осветительная ракета? Читаешь самый мелкий шрифт. А потом появляется самолет на малой высоте, и пошло-поехало... Два часа пятнадцать минут шла бомбежка нашего села. Железный дождь. Теперь я знаю, что это такое.

Лииза:

— Наши родители были сосланы в Казахстан в сорок четвертом. Рассказывали, как люди в дороге умирали от холода и голода. Странно, но у нас была как будто другая история. А вот когда я спускалась в подвал седьмого апреля, вдруг не то что представила, как мать моя страдала там, в Казахстане. Верите ли, я сама стала ею. Значит, вот как это было с ними тогда. Их история стала моей историей.

Взрывается национальная генная память. Взрывается не только во взрослых, но и в детях.

Сестры вспоминают Саид-Хасана Ахмадова. Отца четверых детей, учителя. Он погиб. Потом вспоминают своего одноклассника, раненного в стопу. На пятый день началась гангрена. На тракторном лафете вывезли из Самашек. Подбили в дороге. Не то у Ачхой-Мартана, не то у местечка Валерик.

Места-то какие... Валерик. Я не успеваю вспомнить Лермонтова, хотя Валерик обжигает памятными строками.

Лиза вдруг говорит как-то грустно и неожиданно: «Ненависти к русским нет... Какой мы народ, а? Все наши несчастья приходили на волне веры. Когда-то мы поверили аварцу Шамилю и заплатили полуторавековой войной с Россией. Теперь мы поверили Дудаеву...»

А все-таки что это за война? Если правда, что идет война с бандформированиями, то почему, спрашивают меня сестры, боевик празднует свою свадьбу, проезжая через все блокпосты в сопровождении российского солдата?

— Самое удивительное будет, если вскоре начнется всеобщая амнистия. Что такое эта война? Позорные игры с плачевными результатами для русского и чеченского народов?..

Как в воду глядели сестры Умаровы. Учительницы русского языка и русской литературы, на память цитирующие Толстого и Лермонтова. (Какое счастье, что честь русского народа в той кавказской войне была спасена великими именами...)

Где теперь сестры? Успели ли на этот, третий раз выйти через коридор? Сумели ли вывести сестер, брата, мать, отца, директора школы?

Я выхожу за калитку и развожу руками, глядя на разрушения. «Ну кто же все это сделал!..» Я не спрашиваю. Мне и так все ясно. Просто сотрясаю воздух от отчаяния. Десятилетняя Звезда отвечает: «Русские...»

Луиза рассказывает о своих учениках:

— ...Это очень опасно, когда опыт жизни начинается с самого страшного. К приятию страшного человек должен успеть подготовиться. С тем, с чем они живут, нельзя жить. Понимаете, нельзя.

Самашки подверглись разгрому трижды. «В селе не осталось мирных жителей», — слышала я по радио... Где же они? Не мирные жители вообще, а конкретный человек. Где Асма, Луиза, Лиза, где Нура, учительница начальных классов, мой верный проводник по Самашкам? Цел ли дом твой, Нура, где ты потчевала меня чем господь пошлет? Я ничего не умела сделать для вас. Ни-че-го!

У меня было такое ощущение, что в вас жила тайная надежда на меня, как на всякого, кто оказывался там, ближе к Москве. Есть нелепейшее заблуждение, что там просто не знают всей правды. Теперь я знаю, что там не хотят знать правду.

«Не приведи господи ни мусульманину, ни христианину» — этой чеченской поговоркой сестры Умаровы провожают меня из Самашек.

В Ачхой-Мартан выбираюсь на частном «уазике». С похорон подорвавшегося на mine мальчика возвращаются родственники. Не приведи господи русскому сидеть в этот час среди родни погибшего. Сжатые кулаки. Скорбное молчание. Реплики по-русски (боязнь обидеть гостя) и что-то похожее на жалость ко мне, вертящейся на сковородке. Я высидела. Первая мысль-молния: как же мы с таким народом не договорились?

* * *

- Мама, мама, опять Грачев летит.
- Тихо, детка. Это Джохар Дудаев летит.
- Ребенок засыпает.

УЧИТЕЛЬ

Осмаев Хасмагомет Хасанович. Директор школы № 3 Ачхой-Мартана. Историк. Закончил Грозненский университет.

Это он в сентябре 1995 года сказал про свое село: «Прямых артиллерийских попаданий не было, но война сделала свое дело».

Как историк Хасмагомет утверждает однозначно:

— Войну надо закончить. О победе в таких войнах речи быть не может. Что такое победа или поражение в сравнении с гибелью нации?

Учитель был среди тех, кто приветствовал суверенитет Чечни.

— Когда взметнулся наш флаг и зазвучал гимн, я почувствовал что-то сродни зову могучих предков, как сказал бы Лермонтов. Да, я плакал. Но на этом же представительном собрании моя эйфория по поводу независимости закончилась, и вот почему: вторым или третьим взял слово вице-премьер и зачитал грязную анонимку про Россию.

— Почему анонимку?

— Скажите, такой текст может иметь имя? И тогда я понял, что суверенизация сопровождается еще каким-то процессом. Тайным. Нам не известным. Помню и генерала Дудаева той поры. Мятежный генерал был задумчив и тих. Он был тогда гостем всего-навсего. Сидел ряду в тринадцатом, кажется...

— Что же делать?

— Все что угодно, но войну надо закончить. Как вы думаете, могу я говорить на чеченском языке о том, о чем мы сейчас с вами говорим? Нет! И знаете, почему? Многих понятий просто нет в нашем языке. Он не развивается. Или плохо развивается. Разве это не трагедия?

...Наконец-то я имею возможность посмотреть не только на чеченскую тему изнутри, но и на то, как она больно отзывается в чеченце, будучи преломленной через кривое зеркало российского общественного сознания. Кто бы мог подумать, что позиции Жириновского и Солженицына для чеченца-интеллекта сближены.

— Иногда мне кажется, что Жириновского и Солженицына одна мать родила. Послушайте, как Солженицын защищает наше право на независимость: «Пусть чеченцы пасут там свой скот в горах». Вот позиция просвещенного россиянина...

Отсюда, из Ачхой-Мартана, отчетливо видны все наши грехи перед чеченским народом, видна наша неспособность (или нежелание?) выйти на диалог с такими чеченцами, как Хасмагоммет или сестры Умаровы. Да что греха таить: а я до Грозного что-нибудь знала о чеченской интеллигенции?

В первые дни войны учитель поймал себя на том, что не может слушать ни русскую речь, ни русскую песню:

— Я понял, как это опасно, и начал борьбу с собой. А те, кто не понял? Кто потерял отца, мать, сестру, сына? Если взглянуть на войну с позиции детей, то она только начинается.

Одна учительница начальных классов в Ачхой-Мартане рассказала мне странную историю:

— Понимаешь, когда я собрала своих учеников, то поразились, что многие ничего не помнили о войне. Ты слышишь: они не помнят ни бомбежек, ни стрельбы, ни паники, ни метаний с отъездом — ведь все это было. Одна часть детей вспоминает об этом смутно, как будто события были несколько лет тому назад, другие — **совсем ничего не помнят**. Стерлась и информация, и эмоция. Я даже обрадовалась сначала: о-о! какие защитные механизмы у психики! А потом за голову схватилась: те, кто ничего не помнит, не усваивают новую информацию вообще. Я думала — может, перерыв в учебе... Оказалось, нет! Что-то в детском организме случилось такое, что он не впускает в себя

новое. Надолго ли это? Такое впечатление, что они в сомнамбулическом сне.

Учитель Хасмагомет убежден: дети больны все.

Пока я изучаю схемы знакомых мне ОКСМ, БТР, БМ, ДМП, «Града-40», директор разливает чай и на мои расспросы о моих возможных передвижениях односложно отвечает: «Село блокировано полностью», «Дороги на Бамут нет», «В Самашки автобусы не ходят», «Здесь идут контактные боевые действия»... Из коридора, где работают российские маляриши, доносятся русские песни. Директор Хасмагомет Хасанович **улыбается**.

И ВОТ ОН, ГРОЗНЫЙ!

Одна примечательность Грозного: город взорван. Улицы не убираются. Иногда можно увидеть в развалинах многоэтажного дома двух или трех человек. На какой-нибудь перемычке пятого или шестого этажа стоят мужчина и женщина, странно замерев переди гула кипящего города, который не хочет умирать и в перерывах между перестрелками начинает судорожно жить.

Однажды я видела, как молодая супружеская пара пробиралась по руинам на место того, что называлось их квартирой, их домом. Они зависли на невысзимой высоте. И застыли. Их не надо ни о чем спрашивать. В этом полубезумии такое отчаяние и такая ярость, что не приведи господи! Так вот, перешагивая через мусор и грязь войны, идут женщины, повязанные яркими цветными платками (существуют тысячи способов повязывать голову косынкой). Идут в самых лучших своих платьях, если они сохранились. В отличие от грузинок, которые в такой ситуации ходили бы в черном, горянки демонстративно **разноцветны**. В этом гордость несломленного народа и, как я поняла, молчаливый вызов.

Чеченка держит месячного ребенка на руках и на мой вопрос, мальчик это или девочка, с нескрываемым подтекстом отвечает:

— Конечно, мальчик. В нашем роддоме рождаются одни мальчики.

Я уже научилась вести эти «восточные» беседы, когда самое главное и больное не выражается прямо в тексте, но незримо присутствует как контекст всего разговора. Этот контекст меняет смысл любого слова, целой фразы. Горе, если тебе изменяет

слух. Если ты не слышишь, о чем с тобой говорит собеседник, ведя якобы нейтральный диалог. Позже ты пожалеешь об этом. Чечня очень многому учит, в том числе и этому — услышать боль другого, постичь неистребимую жажду народа жить по **своей** стати, и никакой другой.

Вместе с тем существует одна особенность в поведении вайнахов (особенность ли это изначальной психологии, печать ли исторического развития), которая бросается в глаза.

Чеченец и ингуш всегда держат **другого** в поле своего внимания, независимо от того, пересеклись ваши пути или нет. Он уверен, что рано или поздно дорожки могут сойтись. Стоит бросить фразу в автобусе: «Мне нужно во Владикавказ», — жди, что услышавший обязательно будет держать про себя твое желание. Он **помнит** про него — вот в чем дело. Мужчина выходит из автобуса, а потом, вернувшись, горько сетует: «Владикавказ, Владикавказ... Что за шуточки... Ни в какой Владикавказ таксист не едет». Оказалось, что, увидев таксиста, наш пассажир покинул автобус, чтобы задержать для меня такси. «Так вы из-за меня выходили?» — все еще неуверенно спрашиваю я. «Но ведь вам надо было во Владикавказ или нет?» Да, конечно, надо!

Однажды в Назрани на автовокзале меня разыскивала толпа. Я интересовалась автобусом на Грозный. Подошел левый «уазик». Раньше расписания. Люди кинулись искать русскую, которой надо срочно в Грозный. Отыскали в станционной забегаловке, где я дерзнула вступить в глупейшую дискуссию о Коране с будущим имамом. Молодым человеком из слепцовской духовной академии, проявившим завидное терпение к заблудшей овце.

Только однажды, всего однажды, кинувшись к такси с криком «Куда?», я услышала от молодых людей: «В Буденновск!» Наступило молчание. Я сжалась. Молодые люди скрылись во тьме. И мне показалось, что они сами испугались произнесенного вслух.

...Еще был случай на Минутке, той самой Минутке, где подорвался генерал Романов, так успешно ведущий переговоры с Масхадовым. Я ехала впервые в район автовокзала через изуродованный центр. Телевидение постоянно показывает разрушенный дудаевский дворец. Но целые кварталы разрушенных мирных домов... Это тоже «стратегически важный объект»? Посмотрите на эти дома глазами чеченского ребенка, изучающего ариф-

метику через операцию сложения всех, кто лишился дома в его девятиэтажке. Волосы поднимаются дыбом, когда второклассник загибает пальцы: «...Четыре квартиры на одном этаже — это человек двадцать... плюс собаки и кошки... плюс соседний подъезд... плюс соседний дом... плюс дом бабушки в Шали...»

Мы уже проехали здание гостиницы «Кавказ», стоящее в белом саване турецкой строительной организации. Ощущение мертвенности не только не убавилось, а странным образом подчеркнулось. Когда подъезжаешь к Минутке, счет победоносной гравчевской армии достигает немыслимых пределов.

Вот в этот самый момент молодой человек на глазах у всего автобуса, заполненного только чеченцами, как-то театрально лихо спросил меня: «Ну что же вы, мадам, вовремя не дадите опохмелиться своему президенту?»

Автобус напрягся. В моих глазах было столько стыда, боли и вины, что я как-то вяло парировала: «Я бы подала, если бы от меня это зависело...» Чеченец быстро смягчился и виновато перевел разговор на Москву и замечательных москвичей, которые почему-то не сумели остановить войну.

...Нигде ни разу на дорогах Чечни я не встретила ненависти, злобы к себе. Учительнице из России, проводящей свой отпуск в «горячих точках».

О ТЕХ, КТО НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛ

6 сентября, в День независимости, они пришли в свои классы и шепотом сказали друг другу и своим учителям: «С праздником!» В этот день они писали сочинения и размышляли над своей судьбой и судьбой своей родины. А их родина — Чечня! Они — дети Чечни.

Когда я попросила чеченских подростков написать моим ученикам о войне, это их очень удивило: «Неужели кого-то может занимать мое горе и мое страдание? Ведь мы оказались одни». Ощущение общего сиротства необычайно сильно у чеченского ребенка.

У взрослых реакция прямо противоположная: продолжает действовать синдром **общей страны**.

Взрослому кажется, что его собрат в Москве или в Сибири просто не знает, что здесь происходит. «Или знает?» Я так и слышу голос своей новой подруги ингушки Тамарочки Гурчиевой, приютившей меня в своей мазанке на окраине Грозного. Все дни в Грозном я прожила у Тамары, с которой свела меня

судьба еще в Назрани. О Тамаре как-нибудь отдельно, но главное ощущение — взрослый чеченец и ингуш еще хотят выговориться. Иллюзия, что мы еще как-то связаны друг с другом, пусть едва, но теплится. **Таких иллюзий в детских сочинениях нет.**

«26 ноября войска вошли в Грозный. Это было страшно. Мы уехали в Гойты. Там жили у бабушки. Когда в России поднимали бокалы и выпивали, мы в это время сидели в подвале и молили Бога, чтобы закончилась война. В село Гойты тоже вошли войска. Мы поехали в Хасав-Юрт. Кругом стояли танки, на постах нас не пропускали, требовали документы. Мы ехали день и ночь. В грязь и холод. По дороге сломалась машина. Мы доехали до Хасав-Юрта. Там тоже было слышно, как свистели пули. Много людей погибло. Пролилась кровь. У моей мамы есть сестра младшая. Ее зовут Элина. У нее двое детей. Муж пошел искать своего отца. Отца нашли мертвым, а мужа тети Элины ищут уже восьмой день. Зовут его Задлан» (М. Э.).

Сочинения пишутся как послания. В надежде, что кто-то прочтет. Красным фломастером выделяются строки, требующие немедленной реакции.

«31 декабря мы остались дома. У нас не было машины. В час ночи начали бомбить город. На нашу улицу попали две ракеты. Разрушено несколько домов. Ранило мою мать. Мы везде искали машину, чтобы маму увезти в больницу. С тех пор я ненавижу русских солдат и их пьяные морды. Грачев хотел справить свой день рождения, и у него ничего не получилось. Он унес трупы своих солдат» (Хаджимуратов Али, 1983 года рождения).

«Война принесла мне несчастье. Из-за войны я потерял трех дорогих мне людей. Война эта нужна была дудаеву и ельцину... ельцин получит большую отдачу» (Ибрагимов Зелимхан. Орфография автора сохранена).

«Война мне принесла столько бед, что я их не смогу забыть до смерти. На этой войне я чуть не стала сиротой» (Сагаипова Людмила).

«Всю войну я пробыла в городе. Сидела в подвале. Там невоз-

можно было спать. Пули свистели даже над подвалом. Меня перевезли к бабушке под конец войны, но и к ней попал снаряд» (Маврийская Виктория).

«Никогда не забуду одной из жертв бомбежки в Шали. Маленькая девочка лет двух играла на дороге около своего дома. Прилетел самолет, и ее не стало. В полном смысле этого слова. Вместо ребенка захоронили ее платье» (Дудаева).

«Мы были беженцами в Мискер-Юрт. Жили с бабушкой и дедушкой. Дедушка собрался в Грозный, и, сколько мы его ни отговаривали, он ушел домой пешком. Больше мы его не видели. Через месяц мы приехали в Грозный. Дедушки там не было. Прошло пять месяцев. Мы отчаялись его увидеть.

Февраль 1995 года — самый горький час. Потерялся мой любимый дедушка. Отец моей матери» (Мизаева Элиза).

«Все началось 26 ноября 1994 года. Только 16 декабря мы выбрались из города. Но и в село прилетели самолеты. Две женщины умерли от разрыва сердца. Нас увезли в Новые Атаги. Там было еще хуже. Мы уехали в Шатой. Где-то месяц было спокойно, хотя взрывы не прекращались. Вернулись в Грозный. Смотреть на город было страшно. Потом привыкли» (Дудаев Саламбек).

Кровь стынет в жилах, когда читаешь эти строки. Сочинения написаны по-русски. Красивым почерком. Почти без ошибок.

Первое, что поразило меня, — это отсутствие имени генерала Дудаева. Если оно и появляется в сочинениях, то только в связке с именем Ельцина, Грачева. Иногда в такой интонации: *«Чем мы провинились перед Ельциным, Дудаевым и Грачевым?»*

Чаще всех цитируется Лермонтов. Любимые строки: *«Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ».*

Самое страшное разрушение войны — потеря веры в людей. Это я наблюдала в Южной Осетии, Абхазии, Ингушетии, Шуше.

«Эта война открыла мне глаза на жизнь. Я поняла, какие бывают люди. Мне стало трудно жить» (Джантемирова Элина).

Вектор детских сочинений резко двойится. В одних — желание освободиться от кошмара. В других — отомстить. Ведущий мотив один: **это забыть нельзя.**

Ей всего-навсего десять лет. Девочке, написавшей взрослые строки: *«Все, что казалось мелочью раньше, увиделось крупным планом. В круг моей жизни перешло то, чего я не должна была бы знать»*.

Но странное дело — чем больше читаешь детские откровения, чем страшнее картина открывшейся ребенку правды жизни, чем стыднее тебе, русскому, эта правда, тем мощнее сила жизни этих заболевших на войне детей. Сила сопротивления ужасу, организованному старшим братом. В сочинениях вдруг ни с того ни с сего попадались строчки из той далекой войны, пережитой их дедами. Строки вроде *«ах, война, что ты, подлая, сделала»* сцеплялись с образом российского танка, российского солдата. Эти жуткие сцепления взрывают первичный текст, откуда были строки, и с необычайной силой наступает физическое ощущение бессмысленности, жестокости и глупости затеянной войны.

Магомет Тапаев, ученик восьмого «В» класса, был в подвале, когда начались ракетно-бомбовые удары. Авиабомба пробила подвал. Мальчика завалило стеной. Отец вышел из подвала и понял, что сын в завале. Смешно и глупо пытались друг друга поддержать. *«Потом отец взял инструменты и начал разгребать кирпичи. Меня выгребли. С тех пор я ненавижу русских солдат. Аллах акбар!»* Вы можете что-нибудь сказать этому мальчику? Я — ничего!

Был в восьмом классе один ученик, сдавший сочинение не учительнице, а мне. С последней парты он прямо пошел ко мне и протянул листок. Во весь лист — боевик и подпись, какую я встречала на стенах домов: *«Аллах над нами! Победа за нами! Россия под нами! Аллах акбар!»* Сейчас — здесь, на этом листке, в эту минуту — лозунг утратил свою анонимность и обрел силу внутренней речи, вот в чем весь ужас.

Это была речь конкретного мальчика. Теперь он так **мыслил**. Сосед по парте пишет в моей тетради *«Аллах акбар!»*, а потом добавляет: *«Аллах акбар всему миру»*. Смотрит на меня и красным карандашом подчеркивает слово **«всему»**.

Несмотря на прямые слова о мести, я дерзаю помыслить: может быть, именно **эти дети никогда не будут воевать**.

Одна из сестер Умаровых, глядя на шестилетнего чеченца, целящегося в мишень, сказала: *«Эти добьются независимости»*.

- Мама, мама, выходи замуж!
- За кого?
- За Шамиля.
- Какого?
- Басаева.
- Зачем?..
- А мне гратомет нужен.
- Зачем?
- Российцев бить...
- Ребенку шесть лет.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕСТЬ!

С. Умалатов. Житель города Грозного. Сентябрь 1995 года:

— Я думал, что интернационал — выдумка Маркса. Так вот, я скажу тебе, что интернационал есть. Видел его своими глазами. В нашем подвале было 65 человек. Жена выполняла роль старшей по подвалу. Как зовут жену? А я ее зову Беринана. Печенски означает «мать детей». Она и правда мать моих детей. Но тут есть нюанс. Замечаете? Не мать *моих* детей, а детей вообще. Кстати, она у Дудаева была министром образования. Замысел генерала — воспитать и обучить воинов. Девочки должны получить образование настолько, чтобы держать домашний очаг. Это был пункт Дудаева: мальчики — воины. Сам он вел себя по отношению к женщинам как джентльмен. Сорваться мог на любом, но на женщине ни-ни!

Итак, про подвальную жизнь. Поначалу не было ясно, почему медсестра молилась: «Господи! Не дай нам раненых! Если так тебе надо, Господи, пусть будут убитые». Она знала, о чем молилась. Ни лекарств, ни воды. Все лужи высушили мы, подвальные люди. Как мы до сих пор живы? Ах, да! Интернационал... С танками еще можно примириться, но авиация... Привыкнуть нельзя. Против авиации человек ничего не имеет. Летчики это отлично знают. Авиация берет голой бомбой. Я понял: нам конец, когда начались ракетно-бомбовые удары. Бить по городу, где мирные люди... Оглядел подвал. Мать моя мамочка! Армяне, чеченцы, ингуши, русские, греки. Больше русских... Что? Об этом Ельцин не знал? Грачев не знал, что в городе полно русских, если уж нас, чеченцев, в расчет не берут? Или русский в Грозном уже второй сорт русского? Они все замерли, когда появилась авиация. Замерли в страхе. Я это точно знал по себе. Тогда я крикнул: молитесь! Каждый своему богу! В голос!

И — началось! Они молились. Каждый на своем языке. Теперь я знаю, что такое интернационал и что такое «наш последний».

Вера Григорьевна Умалатова, та самая, что Беринана, руководит народным образованием города Грозного. Со слезами на глазах рассказывает о первых солдатах-танкистах, заблудившихся в городе: у одних карт вообще не было, у других — карты 1975 года.

Стоял не по-кавказски дикий холод. Солдаты без рукавиц, в хлопчатобумажных гимнастерках. Когда вошли в подвал, ахнули: «Откуда здесь люди?»

— Им перед выступлением сказали, что город пуст и бить надо по любой движущейся мишени. Нам их нечем было накормить. Полевой кухни, как мы поняли, у них тоже не было. Отпоили кипятком. Стволы поставили в ряд. Подвал плакал, когда эти дети спали. Жаль мальчиков. Их-то за что?..

Самое ужасное в подвале — невозможность выползти и забрать труп. Мужа, отца, сына. Просто родственника...

Мимо нас стремительной походкой, весь в лучах радости, пробегает мужчина. «Кто это?» — спрашиваю у Веры. Это — Вадим Вадимович Никулин. Физик 50-й школы (поселок Строителей). В школе лучший музей космонавтики. Кто бы знал, что у влюбленного в космос физика сгорело **все**. Дома нет. Все погибло. В тот день гороно собиралось купить учителю Никулину обувь. Не знаю, купили или нет. Какое же это счастье все-таки — учиться и учить!

Каждый из войны выносит свое — Вера Григорьевна уверовала в судьбу и случай. Я записала ее потрясающие рассказы о том, **как живет дом и семья**, если отовсюду бомбят. Моя подруга Тамарочка привела меня однажды в дом к терской казачке Ольге. Казачка на пенсии. Дети с внуками на Украине. Никуда Ольга не поедет из своего дома. Никуда! С замашками атамана в быту, казачка делится со мной тончайшими наблюдениями над собственным поведением, повадками животных и гримасами военной техники.

— Вот вздумалось мне блины печь. Света, газа нет. Остается костер во дворе. Значит, так: заливаю сковородку, он — бах! — все летит к чертям, но огонь жив. Бьет не переставая. Дай, гад,

блин перевернуть. Затих. Выскочила, перевернула... Молодец. Дай теперь снять. Подожди, дай снять... Так и играли мы с ним. Все-таки испекла блины...

Олечка на пенсии. Вытаскивает наряды, старые тряпки, шарфы, шапки, я примеряю все подряд. Нутриева старая шапочка делает меня удивительной красоткой, так считает казачка. Снять шапочку мне уже не удастся. «Ну как влитая!» — комментарий со всех сторон. Из всех щелей, мыслимых и немыслимых, бьет жизнь. Иногда формы она приобретает столь неожиданные, что попадаешь в состояние замешательства.

Одно стало для меня бесспорным: по сравнению с теми, кого опалила война, я была слепоглухонемая.

Слух на жизнь и смерть, если позволительно так выразиться, у этих людей совсем другой. Порог чувствительности резко снижается.

Автобус шел из Назрани в Грозный через Серноводск. Вдруг по лицам сидящих пробежала тень. Лица посуровели. Мусульманин сложил перед собой ладонки. Началась молитва. Автобус превратился в натянутую струну. Моя соседка Тamarочка (которую я приняла за глубокую старуху, а она оказалась моложе меня) со страхом взглянула на мою беспечность. «Так нельзя, ты умрешь». Тamarочка напряженно и мучительно вглядывается в дорожную даль, но я упорно продолжаю ничего не видеть. (Глупо вспомнился эпизод из «Синей бороды» моего детства: «Анна, ты ничего не видишь?») Через несколько минут я увидела мчащийся на бешеной скорости бэтээр. Моторы ревели. Ветер рвал остатки российского триколора. А наверху, цепью привязанная к флагу, стояла огромных размеров кавказская овчарка и лаяла во всю силу своих возможностей. Российские мальчишки навеселе обдали нас матом, и боевая машина резко повернула с трассы влево. Автобус вздохнул. Началась молитва — благодарение с размягченными слезами. Ситуация «ни мира, ни войны» (лето и осень 1995 года) развращает солдат и вконец изматывает мирного жителя.

Кажется, в «Котловане» Платонова есть мысль о впечатлениях, от которых рождается и волнуется жизнь. Какая жизнь рождается от таких впечатлений? — вот в чем вопрос.

9 сентября 1995 года на окраине Грозного, как раз там, где мы жили с Тamarочкой, на улице Широкой, военная машина

«Урал» сбילה чеченскую девочку четырех лет. Наш путь от дома к Широкой лежал через огромный пустырь, превращенный в свалку. Денно и ночью по нему бродили собаки и кошки. Между ними, никого не страшась, сновали гигантские крысы, и далеко по трассе, растянувшись отдельными группками по пять-шесть человек, стояли люди. Тихо переговаривались и крепко сжимали кулаки. Вообще чеченцы мне показались достаточно тихими в бытовом поведении — в отличие от некоторых своих кавказских братьев.

Подошла к одной группе мужчин. Историк из университета не мог говорить. Желваки ходили ходуном. «Опять солдаты напилась». На обочине стоял «Урал», какие-то люди измеряли расстояние до места происшествия. Девочку увезли в больницу. Все ждали исхода.

Стемнело быстро. Когда мы покидали трассу, люди все еще стояли. В темноте фигуры казались неподвижными и странно вытянутыми. Черные свечки вдоль трассы.

Я не прощаюсь с тобой, Чечня! Не прощаюсь! Я вернусь на твои дороги. К людям твоим! И — спасибо за терпение и понимание. Прости меня, Чечня! Если можешь, прости!

ЧЕЧНЯ. ГОД 1996

В среднюю школу № 3 Ачхой-Мартана я вошла, как в собственный дом, хотя лично знала только Хасмагомета, директора школы. Он быстро познакомил меня с учителями, среди которых немало оказалось русских. Одна из них — Нина Николаевна Макаренко — стала моим ангелом-хранителем на десять дней.

Ниночка живет в хрущевке. Смежные комнаты, маленькая кухня. Нас было четверо. Денис — сын Нины. Учится на начфаке Грозненского педагогического. Яша — муж. Милиционер. Кинолог. Охотник. И мы с Ниной.

Хозяина все зовут Яшка. Звучит прекрасно. Ловила себя на искушении так же обратиться. Редкое семейство, где неудобства быстро превращаются в привилегии. Тебе докажут, что пол — это именно то место, за которое идет борьба среди мужчин. Ну вот все хотят спать на полу — и только. Поэтому тебе придется спать на кровати.

Нина преподает русский язык и литературу. Никак не может взять в толк, почему Россия, начиная войну, не подумала о та-

ких, как она, ее муж и единственный сын, свет в окошке, поскольку, когда он дома, воцаряются покой и согласие. Яша не любит, когда из дома кто-нибудь уходит. Он извелся, когда я поехала в Грозный. То и дело выглядывал в окно. Уж совсем расстроился, когда я самостоятельно дважды выезжала в Самашки.

— Ты представляешь мое состояние, когда российские солдаты вошли в наше село? Я вижу родные лица. Русские. Мне хочется им помахать рукой. Помню, я начала улыбаться, а потом как током меня прожгло: а где я сейчас стою? Стою с людьми, с которыми прожила жизнь. Их ведь тоже я оскорбить не могу. Солдаты долго шли. Их было много. Это шамановцы шли, их снимал Невзоров. Они шли, представляешь, на Бамут. Молоденькие солдатики пытались рассмешить детей, строили им рожи. Было не до смеха. Лица детей были суровые, как у взрослых. Один солдат при входе в село материл жителей. Другой вступил в потасовку, его тут же оттащили, чтобы не подвести село. Колонна была очень большая. Самое тяжкое испытание — быть среди чужого народа и знать, что твой народ с ним ведет войну.

Ниночка, как многие русские, верила в то, что Россия не тронет своих, а спасет. Не спасла.

— Я не могу слышать, когда о каком-нибудь народе говорят окончательно. Одни чеченцы рвались ко мне в дом ограбить и убить нас. Другие чеченцы спасли нас. Вот поди рассуди... Это мой случай... Ведь вы хорошо знаете нашего директора? А помните строителей, которые в прошлом году школу ремонтировали? Ну так вот: Хасмагомет уже чувствовал, что тучи сгущаются, и просил российских строителей уехать. Но они были классные специалисты. Им хотелось проверить всю сантехнику, и они задержались. Их выкрали. Хасмагомет знал, кто это сделал. Напрямую пошел к похитителям. Требовал вернуть рабочих. Когда понял, что не отдадут, сказал им все, что о них думает. Его избили. Переломали ребра. Долго болел. Вы не спрашивайте его об этом, он не любит вспоминать. Да и чего говорить, если людей нет. Но он боролся за них в буквальном смысле этого слова.

На первом этаже в двухкомнатной квартире живет красавец Курейш. Все голливудские звезды, вместе взятые, не годятся в подметки нашему Курейшу. Он дал слово: до конца жизни не пить водки и пять лет не пить пива. Слово сдержит. Нина говорит:

— Это он еще даже палец не положил на Коран. А представляешь, если палец будет на Коране, тогда что?

Слово Курейша — немой укор Яше, который хоть и не пьет,

но дать такое слово и сдержать его не в состоянии. Это Курейш так избил бандитов, рвавшихся в дом к Нине, что не очень ясно, в каком состоянии они остались жить на этой земле, если остались.

Иногда вечерами мы всем семейством спускаемся в квартиру нашего спасителя. Усаживаемся на пол и ведем длинные разговоры о жизни. Курейш относится к тому типу чеченцев, о которых мы совсем ничего не знаем или делаем вид, что таких нет. Он пристально следит за процессами в своей республике. Очень религиозный человек. Держится за традиции отцов. Одна из них — дорожить соседом, и прежде всего тем соседом, который исповедует другую веру.

Есть, оказывается, у чеченцев обычай каждый четверг поминать погибших. Нина говорит, что на том свете души умерших каждый четверг идут за подаванием. А если на земле твой потомок забыл подать, ты (умерший) идешь и изображаешь ношу, чтобы не позорить того, кто остался на земле. Я все никак не могу взять в толк, что это там изображают души и зачем. Ниночка поднимает подол юбки. Делает вид, что там подавание, и проходит мимо, укоризненно посмотрев на меня. Это означает, что я здесь, на земле, не подала, а там, на небе, она не хочет позорить меня и делает вид, что чаша подавания полна. Подаваний должно быть не меньше трех. Если ты подаешь человеку другой веры, то тебе воздастся не в той жизни, а в этой. На земле. Сейчас.

...Я слушаю, как Яшка вспоминает с Курейшем совместное житье-бытье, как тихо спят в соседней комнате дети хозяина дома, как Нина с Денисом возятся со свечкой, которая должна разгореться, как жена Курейша намывает фрукты к столу, как дом заполняется покоем. И кажется мне, что вот это и есть рай, где всем нам хорошо, потому что первое движение помощи будет направлено к человеку другой веры, а значит, чего же мне беспокоиться? Хотела было отлететь мыслью от сего дома к вопросу: что же случилось со всеми нами и кто повинен во всем? Но спокойствие и уверенная сила Курейша не располагали к рефлексии. Просто покой — и все!

Нина сполна испытала острую боль русских, оказавшихся в Чечне. Боль эта удвоилась оттого, что она учительница.

— Однажды я вошла в класс и спросила: «Дети, вы ни о чем не хотите меня спросить?» Они спросили: «Вы не уедете?» Я

сказала: «Нет!» Дети вполне понимали двойственность моего положения. А учить их я должна была русскому языку и русской литературе. Хорошо помню день, когда в Катыр-Юрте, это совсем рядом с нами, прямым попаданием бомба уничтожила сразу все семейство — девять человек...

Именно Ниночке я обязана знакомством с тремя чеченскими домами. Лучшими домами, как сказала Нина.

Возможно, Нина, подруга моя, права: Аслахановы — лучшие люди Ачхой-Мартана.

Салман — шофер. Красавица Яха — его жена. Есть дети. Внуку четыре месяца. Это про них Нина скажет:

— Не выношу, когда говорят, что чеченцы не умеют работать, а только воруют и грабят. Посмотрите на их дома. Ведь они строят свой дом всю жизнь. Стройка не останавливается, потому что подрастают дети. Работают с утра до ночи.

Почти все чеченцы, с которыми я виделась, начинали отсчет своей жизни с трагического 1944 года. Салман Яхитов не исключение. В 1947 году мать Салмана умерла, не выдержав ужаса изгнания. О сегодняшней войне в доме говорится тихо:

— Если погреб ходил ходуном, как ты думаешь, что это за жизнь была?

За Россию Салману стыдно. Такая сильная держава, и вдруг... Он, Салман, человек рода. Не инкубаторный какой-нибудь. У него были родители. Их памятью он дорожит. Рассказывает о родовом кладбище в Орехове и о последнем случае.

Люди ехали на похороны. Везли одного покойника, вернулись с пятью. Автобус подорвался.

Большая часть разговора Нины с хозяевами сводилась к воспоминаниям, связанным с общим делом — разведением пчел. Это Салман уговорил Нину с Яшей завести пчел. Вот уж кого не хватало за столом, так это Бондаревского, их общего друга. Не хватало русского, который уехал из Чечни и очень тоскует по этим местам.

— Ох и хотел бы я сейчас увидеть лицо Бондаревского, — сказал Салман, но я уже многого не понимала в разговоре. Не понимала общего смеха, связанного с какой-то историей, где захмелевшему Бондаревскому отводилась особая роль. Жаркая волна беседы захлестнула меня, и я только могла догадываться, какие связи были у чеченцев с русскими. Связи конкретных людей, безжалостно разорванные глупейшей войной.

Поразил русский язык. Он был так точен, богат и рафинированно литературен, что я хваталась за голову.

Салаутдин, сын Салмана, пытался анализировать происшедшее с позиций веков. В совместной российско-чеченской истории мои собеседники были как дома. Назывались фамилии, даты. Века. Цитировались Николай, Ермолов, Чернышов, не говоря о героях новейшей истории. Война вернула чеченцам глубинное историческое сознание. Вектор этого сознания у чеченцев не один. В этом я смогла убедиться. Много раз хваталась за ручку, чтобы записать Салаутдина. Он тут же замолкал. Но часть одной фразы отпечаталась формулой в моем мозгу: «Скрытый, потаенный посыл действий русских сводился к тому...» Да, он так сложно и ярко мыслил, сын шофера Салмана.

Я все не могла прийти в себя от постижения рядовым чеченцем огромных исторических пластов и все спрашивала Салаутдина: откуда у него такой русский?

— Просто я очень старался, когда говорил с вами. Мне это было нелегко. Но вы — гостья.

А как старались мы понять чеченцев?

— Мы больше ничего не просим. Скажи нам, что мы люди. И как люди имеем право на жизнь.

Это тоже формула. Принадлежит она хозяину дома, который искренне страдает оттого, что русская не остается ночевать в его доме.

Не помню, кто сказал: «На нашем выгоне нет ни Дудаева, ни Ельцина». Вот уж точно! Мы вполне обошлись без них.

На окраине Ачхой-Мартана, на Новонабережной, 1, живет Али Умарович Мукаев. Сварщик. Строитель. Философ. Родителей сослали в 1944 году. Вернулись чеченцы в 1956-м. Мукаев — в 75-м. Жена Али русская, зовут Любой. Из Брянска, сирота. «Ничего в жизни хорошего не видела» — это она о себе. Младшего сына Ахмета, всеобщего любимца, убили 19 августа 1995 года. Мальчику было десять лет. Он играл со своим другом во дворе.

Али расследовал историю гибели сына. Смело ходил к российским офицерам и говорил им все, что о них думает. Одному он прямо так сказал: «Ты дрожишь над своей жизнью, а я — нет, потому могу сказать тебе все».

Мы идем в огород. На место гибели Ахмета. Память родных удерживает даты, секунды, сантиметры. Бабахнули российские

солдаты минометом. От дури. Просто так. Осколками мальчику перебило центральный нервный столб. Люба не помнит, как прошли похороны. Нина тут же рассказывает мне о мусульманском обряде похорон, который, по ее мнению, очень щадящ по отношению к женщине, потерявшей ребенка. Мужчина все берет на себя и даже труднейшую функцию — сообщить матери о гибели ребенка — проводит каким-то особенным способом.

Люба перенесла инфаркт. Открылись старые болезни. Появилась новая — астма. Очень мешает ей длинная, почти до пят коса толщиной в палец. Хотела обрезать волосы. Теперь не обрежет никогда, так и умрет с косой. Ахмет не хотел, чтобы мама была без косы.

Али изучает собеседника активным подключением его в систему своих словесных построений:

— А вы жизнь, я вижу, любите?

Да, Али, люблю. А как иначе?

Али пробует жизнь во многих разрезах. Вот его классификация. Один — энциклопедический. Другой — идеологический. Третий — религиозный. Есть четвертый, он называется орфографический. Али уверен, что язык многое определяет в судьбе народа. Пересказывает Эзопову притчу о языке как реально происшедшую историю.

— Язык — это превосходящее все в мире блюдо. Язык — это горькое. Язык — это сладкое. Но сладость может ограничиться, если языком пользоваться неумело.

Говорит о роли женщин в истории:

— Начиная с римских войн, всюду замешана женщина.

Особенно охотно цитирует генерала Ермолова. Говоря о подлости и предательстве, приводит конкретные примеры. Есть одно качество, которое анализирует особенно подробно: завидчивость. То, что Ермолов непосредственно относил к чеченцам, они лихо переводят в регистр общечеловеческих рассуждений. Такой перевод мне показался любопытным. Психолог бы назвал это явление апперцепцией, когда восприятие нового определяется прошлым личным опытом. Возможно, мы имеем дело с типичным случаем рационализации, когда актуальная потребность диктует свой способ вербального описания для явления, существующего совсем в другой системе понятий. С этим явлением я сталкивалась в Чечне не раз.

Однажды я беседовала с помощником мэра Грозного Магометом Сагеевым. Я вспомнила Толстого и процитировала то место из «Хаджи-Мурата», где Толстой говорит о ненависти чеченцев к русским. Они относились к русским, как к крысам. Было и такое в той цитате. Я что-то плела о способности Толстого понять другой народ. Магомет прервал меня торжественной тирадой:

— Многие трудности на земле идут именно от того, что суждения великих людей читаются неправильно. Толстой писал о другом. Он сказал, что в каждом народе есть свои крысы. И — не более того! Или он не понимал чеченцев. То, о чем вы говорите, Толстой сказать не мог. Ни-как!

Хотя я точно цитировала «Хаджи-Мурата», Магомет не мог позволить себе согласиться со мной. Он искал подтверждения своему собственному состоянию.

Так вот: Али пытается понять душу российского солдата.

— Некоторые пришли воевать совсем слепые. Кое-кто проснулся. Я это видел сам. Но спящие остались. Они-то и стреляли минометом по детям... Хорошо, когда зверь обрусел. Плохо, когда русак озверел.

Потом он учил меня делать бирам (чесночную макалку). Провел по мастерским, где все приспособления работают на электричестве, а в нем Али — бог!

— Не надо колоть военными действиями, — говорит Али так, словно ведет долгий разговор с каким-то оппонентом, который не владеет «орфографическим» разрезом жизни, то есть не верит в возможность общения через язык.

— Тогда мы все становимся орангутангами...

А еще надо учиться собирать шишки, которые набиваешь в течение своей жизни. Подвергать их анализу.

Жалею лишь об одном: что у меня нет диктофона. Говорю правду, что в следующий раз приеду в Чечню только затем, чтобы записать Али. Но никакие философские построения не могут унять гора чеченца Али и русской женщины Любы.

К Али мы заявили всем своим семейством на машине Яши, которая непонятно почему еще движется, поскольку вся разбита. Движение задается только через коллективные усилия всех. Все-таки мы, похоже, двигаемся. От дома Али начинается огромное поле, перепаханное снарядами. Пытаюсь понять, как и зачем летел снаряд, убивший двух мальчиков. Никаких страте-

гических объектов окрест не вижу. Вижу одинокий дом сварщика Али, железные ворота, все изрешеченные пулями. У дома кривятся деревья, обожженные огнем, и за домом простирается огород, хранящий следы от снарядов. Что же я могу сказать тебе, Али, на прощание? Что? Есть во всей ситуации что-то невысказанное или невыговариваемое. Это чувствуем мы все — и те, кто собирается ехать, и те, кто толкает нашу машину. В памяти крутятся чьи-то стихи, услышанные в Самашках:

А над селом нависла мгла,
Убиты все,
Горят дома, горят тела.
И в то село пришла война.
Но только вот за что убит,
Убит малец...

Вот оно! За что убит Ахмет, сын Али? За что?

Хозяйка третьего дома — чеченка Тамара. Главная боль и гордость Тамары — ее сын Тимур Бисултанов. Боль, потому что работы нет. Перспектив тоже.

Сын талантлив. Пишет музыку. Сам исполняет свои песни. Вся жизнь Тамары отдана сыну. Я прошу Тимура записать песни и не сразу соображаю, что он этого не может сделать. Кассету надо купить. Даю деньги. Он не берет. Кое-как совладала. Тамара просит сына:

— Ты, пожалуйста, запиши мою любимую.

Любимая песня мамы — старинная баллада о русском солдате, вернувшемся со службы. Он встречает молодую жену и бросает горький упрек: знать, хорошо жила она, пока он служил службу трудную. Молодая красавица отвечает: «Не жена твоя я законная, а я дочь твоя, дочь сиротская...»

Ах, что за исполнение, что за чудо чудное это пение Тимура. Русская песня венчает кассету с записью песен о чеченской войне — горьких, пронзительных. Исполненных мощной энергетикой. «Рано или поздно мы построим Грозный» — основной мотив песен Тимура Бисултанова.

Но когда начинается широкий русский распев «Как служил солдат службу верную», что-то происходит со всеми предыдущими песнями о чеченской войне. Представить себе, что потомок этого солдата, про которого поет молодой чеченец, стреляет в сына Али и палит по дому Тимура, — не то что невозможно, а

просто дико, хотя исторически, наверное, так оно и есть. И поэтому удивительно, как после всего случившегося в истории Тимур продолжал петь русскую песню, словно именно она дает ему возможность раскрыть нечто глубинное в своей душе.

А случилось много чего. Однажды в перерыве между войнами мать с сыном поехали в Москву. Ехать было не на что. Продали холодильник «Бирюса». Теперь живут без холодильника.

В одной московской семье дали плащ, босоножки. Обогрели. Приютили.

— Лучшие дни моей жизни состоялись благодаря москвичке.

Лучшие дни были омрачены обыском на квартире. Причиной и поводом стала национальность гостей. Тамара заплакала. Сына то и дело останавливали на улицах. Останавливали, унижали, оскорбляли. Война продолжалась, поняли мать и сын. Вернулись домой.

А та старая русская песня про солдата, который служил службу долгую, — по-прежнему любимая.

Я вспомнила эффект действия русской песни на чеченский цикл, когда прочла отрывки из большого произведения, услышанного в Самашках.

...Я болен телом и душой,
Порой бываю я не свой.
Дракон нарушил мой покой.
Презренье к злу во мне растет.
Мужчина лишь меня поймет.
Я чудом, братец, уцелел.
Молитвы день и ночь я пел.
Творцу я преданно служил,
И выжить дела (бог. — Э. Г.) дал мне сил.
Мальчонкой здесь среди руин
Больной, заброшенный, один
Ужасной музыки мотив
Запомнил я. Сложил и стих.
Я каждой клеткой ощущал
Беду народа. Я страдал,
И жизнь такую проклинал,
И в мыслях меч себе искал.

Узнаёте? Вот так-то...

БАМУТ

Военный комендант Ачхой-Мартана принял меня в кабинете, заполненном стариками. Шел какой-то обстоятельный разговор, который я прервала своим приходом.

— Башаев. Не Басаев. А Башаев. Хаджи-Мурат.

Услышав такое имя, я тотчас протянула руку. Хаджи-Мурат задержал ее и, сделав небольшую паузу, спросил без всякой злобы и без всяких там подтекстов:

— Классическую литературу читаете?

— Читаю, — сказала я поспешно. — Вот Ельцин с Грачевым не читают, отсюда такая беда.

— Камера? Блокнот? — это ко мне.

— Я все оставляю здесь. Ничего не возьму.

— А зря. Надо бы все это снять и показать.

Хаджи-Мурат выписывает пропуск на Бамут.

Я поеду со своим другом Хасмагометом в его крошечной машине, предназначенной для перевозки пирожков. Остаются последние указания коменданта. Не отпускать русскую от себя. Следить за «растяжками». Не входить на территорию домов.

Судьбе было угодно, чтобы я попала в Бамут в яркий солнечный день. День, когда жители Бамута получили разрешение войти в село.

И они шли. В стоптанных тапках, потрепанной одежонке. Женщины повязали головы яркими платками.

Подойти к своим домам близко было опасно. Одни останавливались у дороги и долго-долго вглядывались в то, что было усадьбой и домом. Другие присаживались на корточки у дороги и продолжали сидеть неподвижно. Кто-то делал отчаянную попытку пересечь то, что было порогом, и тогда фигура сливалась с торчащими остатками дома. Сливалась напрочь, и, казалось, не было силы разъять их.

Свидание с домом было столь мучительным, что почти все жители, кто пришел в то утро в Бамут, покинув свой дом, направлялись к центру села, словно сговорившись. Многие увиделись впервые после сдачи Бамута. Узнавали друг друга. Обнимались. Сдержанно плакали.

По случайности я оказалась в центре толпы. Всем было ясно, что я русская. Они видели меня, но не удостоили внимания. Им было не до меня и моих пустых рефлексий.

У них не было дома. Погибли близкие. Уничтожен скот. У

них появились могилы на чужом кладбище, потому что родовое оказалось заминировано.

Когда им надо было обняться с тем, кто стоял за моей спиной, они молча обходили меня, как обходят неодушевленный предмет. В глазах не было ни злобы, ни мести, и, уж конечно, не было любви.

Так я стояла несколько минут, сжавшись в комок, пока взгляд не упал на усадьбу, по которой решительно и смело шел мужчина. Было такое ощущение, что он попал на строительную площадку. Я увязалась за ним, как меня ни отговаривал Хасмагомет. Он ведь ходит, и ему ничего. Почему я не могу?

Мы вышли к дому, задержав свой шаг у здания школы, на котором аршинными красными буквами было начертано: «Духи — говно». Много таких лингвистических ценностей разбросано на классных досках школ Чечни. Указан и адрес: «В наследство вашим детям». Сама видела.

Хозяин усадьбы оказался строителем. Тридцать лет своей жизни работал в Алтайском крае, в районе Троицкое. Заслуженный строитель. Прекрасная русская речь. Один из тех чеченцев, которые никогда не мыслили своей жизни без России. Дом построен для родителей. Во время войны старики ушли через лысые горы в Аршты.

Лысые — так чеченцы называют горы, покров которых сожжен и уничтожен ракетно-бомбовыми ударами. А еще их называют Черные горы.

Махмуд-Гирей Алиевич Мурдалов — не знаю, точно ли я запомнила имя хозяина дома. Вытащить блокнот с ручкой что-то не позволяло. Дом Мурдалова — единственный в Бамуте, который внешне уцелел.

Здесь располагался штаб части 3654. Внутри все уничтожено. Осквернено. Разворочены потолочные балки, вырваны половые доски, топором стесаны оконные рамы. На полу валяются обрывки каких-то документов с именами, фамилиями.

Обходим всю усадьбу. Родители пытались спасти холодильник. Запрятали в сарай, замаскировав досками. Мы увидели во дворе корпус холодильника. Он еще хранил следы деталей, варварски извлеченных из него. Ни одной целой вещи.

— Как же так... Они же здесь жили. Если вы уж захватили, так живите по-человечески.

Сын не знает, как привезти сюда родителей. Он знает, что для них это зрелище будет последним.

Еще на Алтае, в Троицком, он увидел однажды свой дом в программе «Вести». Это был репортаж о взятии Бамута. Говорили так, словно взяли Берлин. Он узнал свой дом. Над ним водружали российский флаг.

— А до этого какой флаг был над моим домом? Какой? Почему я оказался враг?

Встреча с алтайским строителем впервые заронила во мне мысль, что именно Россия ускорила сепаратистские процессы и дала возможность оформиться идее — на этот раз навсегда закончить с Россией.

— Я не мыслил себя без России, но теперь... Пусть мир мой сосредоточится в моем доме, моем огороде. Но я буду знать, что внуку через пятьдесят лет не придется ходить по развалинам дома и испытывать стыд и страх перед своими родителями. Да, только отделиться... Обратитесь к нашей истории. Это не просто книжки и слова.

Он обвел рукой свою усадьбу, которая представляла кладбище всего, что было нажито, что составляло смысл не для одного поколения рода Мурдаловых.

Хозяин дома был на редкость внимателен ко мне. То ли он чувствовал мой позор и стыд, то ли еще что-то незнакомое мне руководило его поведением, но одно несомненно: окажись я в его ситуации, мне бы не достало ни терпения, ни мужества алтайского строителя, решившего свой спор с Россией, начатый еще его предками. Не в пользу великой страны.

Я много чего повидала в этих странных войнах на постсоветском пространстве, но посещение Бамута отняло у меня последние силенки, чего никогда не было раньше. Пришла на квартиру к Нине в середине дня и рухнула на кровать. Ровно сутки меня никто не трогал и ни о чем не спрашивал. Если кто-то приходил в дом, Нина тихо говорила: «Эльвира была сегодня в Бамуте».

Как же все они еще живы? Все те, кто своим ходом из Бамута возвращался в беженские вагончики и прочие временки...

Вечером Нина с Денисом смотрели одну из серий фильма «Вьетнам, до востребования». Кто-то подрывался на mine. Летели бомбы на ветхие крыши. Ориентация матери и сына в фильме поразила меня. Утром Нина сказала:

— А это все про нас. Про нашу войну. Один к одному.

«РАЗ НАС ОСТАВИЛИ ЖИВЫМИ, ЖИВЕМ...»

— Вся школа осталась на второй год, — горько шутят в учительской средней школы села Самашки.

Школы физически нет. Ее сожгли. Дети учатся в здании управления какого-то предприятия, которого тоже нет. Стены выбиты. Полы выщерблены. Классных досок нет. Мела нет. Учебников — тоже нет.

Учителя тем не менее в сборе. Не получают ни копейки. Учат детей. Русскому языку и русской литературе в том числе. Одна из них — Анна Эльжуева. Красивая. Темпераментная. С большой внутренней силой и достоинством. Ее рассказ:

— Понимаешь, у меня молодой муж. Ему сорок семь лет. Ни в каких боевиках не состоял. Но когда начался этот ужас с паспортизацией, я поняла, что должна спрятать его и моих мальчиков. У меня два сына. Одному двадцать, другому — шестнадцать. А как?..

Сидим в подвале. Забегают федеральные солдатики с криком: «Прячьтесь! Контрактники идут!»

Не успели. Вывели из подвала и всех мужчин поставили к стенке. Велели руки заломить за голову...

Да, там одна жуткая история в подвале была. Брали парня. Совсем мальчик. Сестра легла на него и кричала: «Стреляйте в меня! Пуля останется со мной!»... Не помню, чем все кончилось. Не помню.

Ну так вот. Женщин — в одну сторону, мужчин — в другую. Ждут приказания. А уже идет вой: это женщины криком кричат. Только мужчинам прикажут отойти — женская толпа в рев. Вижу, мои мальчики стоят спиной к нам...

Заявляется один, который главный. Слышу: «Расстрелять»... Понимаю, что это относится к моим. Вижу того, кто их повел. Тут началось: я висну на исполнителе. Буквально. Хватаю его за руку. Не даю автомат вскинуть. Он от меня отпихивается. Слышу, главный приказал вывести наших за сарай. Ну, думаю, все!

Хорошо помню, что ему нравилось произносить это слово: «Расстрелять». Или мне так тогда показалось.

Вывели мужчин за сарай, и тот, второй, на ком я висела, быстро оторвался от меня. А я бегу. Догнать не могу. Мне почему-то казалось, что, если я отведу выстрел, он никогда больше не прозвучит. Глупая! И вот между нами несколько метров. Он

вскинул автомат. Палец на курок. Я понимаю, что не успеваю схватить его.

Раздается выстрел. Смотрю и вижу, что мои мальчишки стоят, а контрактник с автоматом упал. Сначала я решила, что сошла с ума. Я ведь слышала выстрел. Мне показалось, что я вижу то, что хочу увидеть, а не то, что есть. Но контрактник лежал мертвый. Это было ясно как день. Мои мальчишки **стояли**. Все трое.

Не сразу поняла, что его выстрел упредили боевики. Они в него стреляли, и он упал замертво, а наши стояли и знали, что выстрел в них, и, наверное, не понимали, почему еще стоят.

Спаслись мои мужчины. Но это мое сумасшествие... Оно со мной. Всегда, неотступно. Ты спрашиваешь, как мы живем после этого? Раз нас оставили живыми, живем. На этот раз оставили живыми.

В клетушке, приспособленной под учительскую, появляются чай, кофе, конфеты. Чеченские учительницы, которых я вижу в третий раз, рассказывают о последнем штурме Самашек, начавшемся 15 марта 1996 года. Как и при первом штурме, самолеты кружились над селом. Ревели орудия, толпы людей шли на Серноводск. Голова этой колонны была в Серноводске, хвост — в Самашках. Вдруг начался вой, крики, слезы. Толпа зашевелилась. Люди шли обратно.

Оказалось, что на пропускном пункте забирают всех мужчин, в том числе и самых молодых. Из-под мышки матерей рвут детей и гонят в сторону. Всем ясно, что гонят в фильтрационные лагеря, откуда не возвращаются. А если и возвращаются, то инвалидами на всю жизнь. Толпа хлынула назад, в Самашки.

Все думаю, найдется ли кто-нибудь, кто просто проведет опись операции нашей армии на войне, как-то: установление конституционного порядка, паспортизация, зачистка и что-то там еще у нас есть из полководческих деяний. Как сказал один чеченец, освобождали населенные пункты от боевиков ценой уничтожения всего населенного пункта.

Мовлади Борщиков, заместитель главы администрации Самашек, рассказывал, что все ультиматумы, предъявленные селу, были настоящим издевательством над жителями. Сколько раз давали слово не входить в село и не бомбить. Входили. Бомбили.

— Меня поставили в тяжелое положение, — говорит Мовла-

ди. — Я вынужден выступать за отделение от России. Другого выхода у нас нет.

Серижа, мать моих знакомых учительниц Луизы и Лизы, провожает меня в Ачхой-Мартан. Стоим на окраине села. Вот здесь несколько месяцев тому назад она стояла со своими детьми. Танки, солдаты, беженцы из других сел. Мучительное ожидание штурма. Они уже знали по опыту первых двух штурмов, что будет бойня, но не предполагали, что такая. Вот отсюда, с этого места, их погнали, как скот, в Давыденко.

Сейчас Серижа пронзительно быстрым взглядом оценивает ситуацию:

— Ах, Эльвира, почему ты не села? В той машине старый человек сидел. Он ошибки не допустит.

Ждем машину со старым человеком. Дождались. Чеченец, правда, едет не в Ачхой, а ближе — в Шарой. Но я, дурная голова, подсаживаюсь, даже не предполагая, как буду выползть из Шароя.

— Старый человек придумает, — прощается Серижа. И долго-долго смотрит мне вслед.

— А Самашки? Самашки — всегда Берлин, — это я услышала от попутчиц.

На развилке дорог старый чеченец ссаживает своих женщин. Они пойдут пешком до Шароя. А я еду, стало быть, до Ачхой-Мартана? Так и есть!

Он довозит меня до самого центра. Я пытаюсь всунуть десять тысяч рублей, но старик качает головой:

— Я плохо тебя довез. Обязан был привезти с женщинами к себе в дом. Накормить. Напоить. Только потом увезти домой.

Война принесла много бед в семью старого чеченца. Он никак не возьмет в толк, за что этот крошечный ад на земле. За какие грехи?

На прощание он говорит мне, что Аллах ограничил нас смертью, но мы забыли об этих ограничениях. Покусились на Бога. Вот от этого все и идет. Вполне возможно, что старый чеченец прав.

ДОМОЙ

Начало ноября 1996 года выдалось холодным и дождливым. Рано утром Денис и Нина пошли меня провожать. Надо было как-то добираться до Назрани, а потом во Владикавказ. Нина

продолжает рассказывать об обычаях чеченцев, и наконец следует обобщение: нам надо учиться у чеченцев быть народом. Говорит горько, потому что знает: отъезд неминуем. Яшу тянет на родину. На Украину. Но кто и где их ждет?

Денис рассказывает одну из историй, про которые не знаешь, анекдот это или правда. Денис говорит, что это событие точно состоялось.

Дорожный патруль останавливает автобус.

— Всем мужчинам выйти, остаются только женщины!

Мужчины выходят. Патруль заглядывает в автобус и видит мужчину.

— Ты почему не вышел? Ты что, женщина?

— Да, я женщина. Мужчины воюют в горах.

Так, говорят, и остался бедняга сидеть. Не вышел...

Моросит дождь. Многочисленные лотки закрываются полиэтиленом. Смотрим, на чем бы уехать. Вдруг Нина как будто ни с того ни с сего говорит:

— Ты дай знать, если тебе будет плохо. Вот мы устроимся и тебе обязательно поможем. Мы помогаем друг другу — такая у нас семья. Про нас не забудь, когда будет плохо.

В глотке запершило. Стоит автобус с табличкой «Грозный», и мне почему-то жаль, что искать я буду другой автобус. С другой табличкой. Не будет Яша выглядывать в окно, поджидая меня. Не увижу я игр Дениса с кошкой, не услышу рассказов русской учительницы Нины о народе, с которым она разделила хлеб и соль. О Кавказе, который должна покинуть навсегда.

Единственный автобус во Владикавказ из Слепцовска ушел. Добираюсь до Назрани, а там — печальный Чермен, место противостояния осетин и ингушей. Коротая часы на автовокзале в Назрани.

Захожу в забегаловку. Подсаживаюсь к столу, за которым неспешно поглощает лагман молодой человек. Его зовут Магомет Котиков. В глазах — нездешний свет и редкое для такого возраста спокойствие. Он учится в слепцовском духовном заведении. Будет имамом. Не скоро. Но будет.

— А это правда, что по Корану можно убивать неверного?

— Убивать нельзя не по Корану. Убивать вообще нельзя.

— Нет, говорят, что по Корану... — это опять я.

Магомет терпелив к заблудшей овце и снова, как в первый раз, повторяет: «Убивать нельзя вообще».

— Ну а как же... — начинаю было я.

Магомет произносит отчетливо:

— А мы народ плохой. Сначала надо посмотреть, почему это именно с нами происходит. Почему?

Покаянный мотив на дорогах войны дорогого стоит, как сказали бы в былые времена.

Через окно вижу какой-то странный автобус. Выбегаю к платформе. И правда! Огромные колеса. Маленькие окна зарешечены. Корпус самого автобуса раза в два ниже обычного. Как будто кто-то сдавил автобус и поставил на высокие колеса. Получился модернизированный «воронок».

Люди входят в автобус по высоким ступенькам. Идут молча, сосредоточенно. Куда же может идти такой монстр? Подлетаю к шоферу:

— Вы едете во Владикавказ?

— Да.

— Возьмите меня с собой.

— Нет! Мы не можем делать там остановку.

— Ну пожалуйста, всего на минутку, а то я доберусь до Владикавказа ночью, а мне негде ночевать.

— Не могу. Не позволят. Еду с сопровождением.

Бегу к начальнику автовокзала. Прошу замолвить словечко. Выходим к платформе, от которой через несколько минут отойдет тюрьма на колесах.

— А-а-а, этот, что ли? Этот не возьмет никогда. Его сопровождает в пути осетинский ОМОН. Видите, какие номера на машине? Ингушские. По Осетии пройти не могут. А людям надо ехать домой. Это — Джейрах...

Джейрах! — резануло ухо и сердце... Так захотелось сесть в этот автобус и проделать весь путь через Осетию в высокое горное селение Джейрах, где живут ингуши.

Значит, война еще идет. Продолжается.

Последний человек поднимается в автобус. Предъявляет билет строгому контролеру. Из маленьких зарешеченных прорезей выглядывают молчаливые лица стариков, женщин, детей. Автобус со взрывоопасным номером движется в сторону Осетии.

Джейрах... Джейрах... Сколько раз за зиму прозвучит название этого местечка по телевидению: подорвалась машина с солдатами... погибли люди... провокация на пути к Джейрашу...

Если буду жива, проеду этой дорогой через год. Если буду жива...

Идем по Чермену. Месту боев между осетинами и ингушами. Чеченка просит довести ее до автобуса, который идет во Владикавказ.

Пока собираются пассажиры, время кипеть диспуту.

— Не знаю, как кто, а осетины — народ нормальный, — говорит немолодая женщина.

— А армяне нет? — вспыхивает сосед.

— Я ничего не сказала плохого о других, я просто говорю, что мы, осетины, народ нормальный...

— Значит, ингуши ненормальные?

Взрыв готов. Его прерывает поднимающийся в автобус мужчина. Широко улыбаясь, произносит текст:

— Официально объявляю всем: лучший в мире народ — чеченцы!

Голос из кабины шофера прерывает гул:

— Леди и джентльмены! Дамы и господа! Что за шум? А-а! Диспут про нации? Внимание! Объявляю: все народы одинаковы. Есть отдельные частные ин-ди-ви-ду-алы.

Отдельным частным индивидуалом никто быть не хотел. Все враз смолкли. Соседка-чеченка осмелела и подвела итоги диспута:

— Как сказал великий казахский поэт Булат Окуджава, у каждого народа есть отдельные люди.

На этом и порешили.

Впереди — Владикавказ. А там — Крестовый перевал. И — Тбилиси, все еще говорящий на всех языках.

ГРАНИЦА

Подсчитываю свои денежки и решаюсь на автобусный вояж Тбилиси — Москва. Билет — около шестидесяти долларов. Выезжаю четвертого декабря. Зима.

Уже с Казбеги начинаются таможенные волнения. Приказано выйти всем мужчинам и закатать рукава. Определяются наркоманы. Мужчины возвращаются, и теперь вплоть до Москвы кипеть диспутам на тему прав человека.

Каждый полицейский и таможенный пост имеет свой флаг и герб. Под их сенью чинится разбой и издевательство над человеком, пересекающим границу. Синдром большой общей страны

еще живет в нас, и всякий раз перед границей он дает знать о себе. Нам все еще кажется, что это глупые игры, что все должно прекратиться и мы снова поедem друг к другу, как раньше. Ан нет! Все всерьез и, похоже, надолго.

У меня на попечении грузинский мальчик. Мама в Грузии, папа — в Москве. У мальчика украли документы. Заверяются какие-то справки. Милиция пишет свое ходатайство. Меня просят помочь мальчику добраться до Москвы. Я опротчетливо соглашаюсь.

Благополучно, хотя и не без нервотрепки, покидаем грузинский пост. Приближается российская граница. Родные пограничники. Нрав их мне известен. В каждый паспорт надо вложить 50 тысяч, и ты пересекаешь границу.

Еще раньше, в октябре, я сделала дурацкую попытку выяснить права человека при переходе границы. Пограничник подвел меня к стенду, на котором висела какая-то бумага со стершимися буквами. Из нее следовало, по утверждению пограничника, что с российским паспортом можно въехать в Россию, но нельзя — в Грузию, а с грузинским паспортом можно въехать в Грузию, но нельзя в Россию. При таком положении неясно, как вообще может существовать автобусное сообщение.

Ирония состояла в том, что именно накануне премьер-министр (а именно им подписано распоряжение) витийствовал на совещании стран СНГ по поводу границ и таможен. Виктор Степанович говорил: ни один столб им не забит на границе. Лукавил премьер-министр. Лукавил. А может, просто не знает, что делается на границах.

Так вот: на этот раз пограничники окинули опытным взглядом наш автобус и положили собрать с нас дань в шесть миллионов рублей.

Среди нас были старые и больные люди, не имевшие лишних денег. Уже отсеялись те, кто не имеет денег совсем. Беженка ехала из Дманиси в Ставрополь к мужу, не успев прописаться в России. У нее не было ни копейки. Разгоряченная, она выскочила из автобуса, оставив с одной ноги поношенную туфлю.

Пока шел сбор денег, проверялось право на переход границы моего подопечного мальчика. Тут выползла я со своим ходатайством от Фонда Ролана Быкова. Молодой пограничник скрылся. Через несколько минут вышел другой, постарше. Он объявил, что по распоряжению премьер-министра России граждане

без российской прописки не имеют права пересечь границу России.

— Ваш автобус возвращается в Тбилиси.

Шофер Дима, уже почти все уладивший с шестью милиционерами, впал в отчаяние:

— Я же просил вас, Эльвира Николаевна, не возникать...

Все в автобусе сжались. Камни пока в меня не полетели. Дима по опыту знал, что главным условием преодоления границы является мое отсутствие в автобусе. Имеющая абсолютное право въехать в Россию, я должна автобус покинуть. Таково требование пограничников.

Выхожу из автобуса в глухую кавказскую тьму. Граница закрывается в десять вечера. Откроется в шесть утра. Отчаянно ревет Терек. Пена волн бьется о горные теснины, и таким ничтожным кажется твое единичное существование, и уже совсем непристойными выглядят подвиги пограничников.

Вот я в Дарьяльском ущелье. Одна. Ночь. Ветер срывает одежды.

Приглядевшись к тьме, обнаруживаю караван из «КамАЗов». Это российские военные едут за бензином. Их не пропустили. Они будут стоять ночь. Начальник колонны нещадно матерится. Кажется, еще и пьян. Стучу в один «КамАЗ», в другой. Наконец шофер одного из «КамАЗов» впускает меня в кабину. Армянин из Тбилиси. Служит в российских войсках по контракту. Кабина отапливается только на ходу.

Пытаемся пристроиться на отдых. Мне предложено растянуться. Сам Альберт, шофер то бишь, умеет спать, положив голову на руль. Опрокинувшись на спину, вижу, как каменная громада надвигается на меня — это сквозь окно «КамАЗа», пробивая темень ночи, выступают в своем безмолвном величии белые скалы, и никакие философские мысли не одолевают меня. Одна лишь жалобная нота звучит в мозгу моем: «...Сколько же может еще длиться мое дурацкое путешествие по Кавказу? Где мой автобус? Где вещи мои? Где моя Родина и есть ли она?»

Альберт смотрит на часы. Через десять минут граница закроется. Он все еще надеется, что сегодня мой автобус не пересечет границу и завтра утром, при новой смене, я выеду на просторы родины чудесной.

Но наш автобус, ведомый великим дипломатом всех времен

и народов Димой, уверенно теснит другие машины и, тяжело переваливаясь, покидает пределы Грузии. Еще минута — и он в России.

И тут я вспоминаю, что я гражданка своей страны и с российским паспортом могу пересечь границу. Опрометью несусь к пограничным постам и застаю двух пьяных стражей России. Один из них кричит другому:

— Давай организуй мамашу!

Это относится ко мне. Организовать надо меня. Подходит в дымину пьяный пограничник, неловко и тяжело поигрывая автоматом. Падает шлагбаум. Я — вне России.

Альберт пытается меня утешить. Кормит домашним печеньем. Рассказывает о семье. Переходит на разговор о каком-то сериале.

Беснующийся Терек глушит наши сонные беседы, и около шести утра мы плавно переходим границу. Мы — это колонна российских военнослужащих, едущих за бензином. Мы потеряли целую ночь.

Молоденький пограничник пытается выяснить, как я попала в «КамАЗ». Неужели мой паспорт — еще не аргумент? Как же Басаев с Радуевым переходят границы?

Силы мои на пределе. Пограничник это понял. Еду с Альбертом в Нальчик, а там — как господь пошлет...

— А вы посмотрите по сторонам. Может, автобус вас ждет? — это Альберт.

— Что вы! Какой автобус! Многие пассажиры ехали к определенному времени на поезд. Не могут же они меня ждать восемь часов...

Нет! Не могут! Все — не смотрю по сторонам.

Альберт снижает скорость. В пятистах метрах от российской границы дремлют какие-то автобусы, сойдя на обочину. Я не знаю номера нашей машины, я вообще ничего не знаю на этом свете. Сердце колотится. А вдруг...

Это смешно и дико помыслить, если тридцать с лишним человек стоят и ждут всего-навсего одну русскую — непутевую женщину, создавшую к тому же всем сплошные неприятности. И все из-за дурацкой привычки лезть всюду, где ее не просят.

Альберт тормозит... Еще никого не увидев и не узнав, я спускаюсь с высоких ступенек «КамАЗа» и чувствую, как чьи-то руки подхватывают меня. Мягкий грузинский акцент:

— Послушай, где ты так долго? Мы тебя ждем.

Это старый шофер, сменщик нашего Димы, уже стоял на дороге и ждал меня.

Все в автобусе спят. Я забиваюсь, как мышь, в угол и страшусь пробуждения моих попутчиков. Спят старые люди, приняв неудобные позы, спят малые дети на руках пап и мам, крепко спят молодые люди. Спят, будто ничего не случилось. Впереди почти трое суток.

Ни разу никто не вспомнил мою, мягко говоря, оплошность. Даже тогда, когда автобус пришел в Ростов на восемь часов позже и пассажиры выходили в холодную слякотную ночь — и тогда никто не вспомнил русскую, так по-дурацки спутавшую график.

Въезжаем в Москву глухой ночью. Залитая огнем ночная столица манила к себе и завораживала, как манит и завораживает мираж в пустыне.

Мы въехали на Щелковский автовокзал в три часа ночи. Двери вокзала были наглухо закрыты. Достая две стотысячные купюры и протягиваю Диме, что-то неловко сочиняя про неудобства, которые я всем создала.

Красавец Дима элегантно жестом отводит мою руку и проносит:

— За кого вы нас принимаете?.. Приезжайте в Тбилиси. Мы будем вам рады.

Он находит среди привокзальных шабашников одного своего знакомого, переносит мои вещи в машину. На прощание говорит то, о чем все молчали трое суток:

— Вы хотели помочь одному человеку, а плохо пришлось всем. Мы знали, что вы переживаете. Мы все ждали. Знайте это.

Меня душат слезы. Тут же возникла шальная мысль: а что, если с этим автобусом вернуться в Тбилиси?!

Вернуться на Кавказ, где, как бы ни было трудно, всегда найдутся люди, которые не дадут тебе пропасть.

Вернуться в этот горящий котел наций и этносов, сотен языков и наречий, причудливых сочетаний законов предков с бегом времени, нелепых и жарких противостояний и естественной жажды красоты и гармонии.

Войти в первый попавшийся дом и обрести друга и брата.

Я не прощаюсь с тобой, Кавказ!

ЧЕЧНЯ. ГОД 1997

Вячеслава Яковлевича Измайлова я увидела на презентации книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Он сидел ко мне спиной. Увидев на погонах звездочки майора, я решила, что это Измайлов. Все майоры в мире были для меня Измайловыми — так страстно хотелось мне попасть в Чечню.

— Возьмите меня с собой! — это я.

— Ни за что! Поездка не подготовлена, много вопросов, — это он.

С этой минуты я не спускала глаз с майора. Через полтора часа он поднимается, и я следую за ним. «Позвольте мне сопровождать вас», — произношу я. И вдруг ловлю себя на мысли, что это слова Треплева, обращенные к Нине Заречной из чеховской «Чайки». Рассмеяться я не успеваю, потому как следую за своей «чайкой» в редакцию.

В течение двух часов майор ведет прием посетителей. Пришла женщина с зажатой в руке стотысячной купюрой. Просит не называть ее имени. Длинную речь произносит испанка, которую девочкой привезли в Россию. Надо же такому случиться — она ступила на российскую землю 14 июля. Именно в этот день спустя шестьдесят лет уезжает в Чечню Измайлов. Испанке это кажется знаком...

Пришла чеченка Мариам, дочь которой в больнице. Девочке было шесть месяцев, когда вся семья сидела в подвале. Трое суток не было еды. Мать перетягивала ребенку живот, полагая, что так можно утолить голод. Вышли из подвала. Ребенок не принимает пищи. Сделали переливание крови. Занесли вирус. Выясняю, что подвал тот — у консервного завода. Это район Грозного, в котором я жила в 1995 году. На улице Обухова. В доме у Гурчиевой, бедной одинокой ингушки. «У Тамарочки?» — спрашивает Мариам. Конечно, у Тамарочки. Мазанка. Две малюсенькие комнатенки. Кухня с разоренным полом и гуляющими крысами. Мариам учит меня завязывать косынку по-чеченски...

Раздается звонок. Это матери российских солдат из Чечни. У них кончились продукты. «Слава, вся надежда на вас». Потом я пойму, что это на самом деле так: Измайлов — единственная и последняя надежда солдатских матерей.

К концу приема майор сказал: «Я вас беру». Мое имя уже

занесено в полетный лист. Интересно, когда он успел решить и когда успел все сделать?..

Я еду в Чечню! В третий раз! У меня негласная миссия: уговорить матерей вернуться домой.

В Моздоке нас отговаривают ехать. Не то что отговаривают, а дают почувствовать порох в воздухе. Над нами кружит вертолет. Идут поиски банды, проникшей в Северную Осетию. Автобус с солдатами по тревоге выезжает к границе Ингушетии. Однако майор Измайлов ведет себя так, будто ничего не происходит. Ему надо провезти пятнадцать тонн груза до Грозного. До конкретных людей, которых он знает.

Смотреть на тощих солдатиков, перегружающих продукты на границе с Ингушетией, невыносимо. Почти дети. Тонкие шеи. Руки — как плети. Майор оставляет солдатам коробки с едой. Не выходит из головы один солдатик из Моздока. Шея обвязана бинтами. Уже вторая операция на лимфатических узлах. Бойтся, что понадобится третья. Живет солдат в Сочи. Что чаще всего вспоминается? «Речка...» — «А море?» — «Море... Скучно... Речку надо...» Служить еще долго. Шея болит. Говорит, что болезни лимфатических узлов нет в перечне противопоказаний службе в армии. Сквозь бинты видны швы...

Ехать в Чечню ночью не рискнули. Заночевали у Лечи Идигова, представителя Чечни в Ингушетии. Хава, жена Лечи, крутится с утра до ночи. В войну обострились все болезни. У младшей дочери Риты, яркой блондинки с голубыми глазами, резко затормозилось психическое развитие. Последствия войны теперь круглые сутки перед глазами родителей. Лечи снимает дом. От собственного осталась грудка развалин в Орехове. Лечи особенно жалко книг. Их было много. Теперь они остались только на фотографиях.

Совершаю свою первую ошибку: сажаю щенка Рекса на лавку.

— Здесь сидят те, кто молится, — это хозяйка дома делает мне замечание.

Мне нравится уклад жизни чеченцев: как воспитываются дети, какими хозяйшками становятся девочки уже в десять лет, как сын не смеет без позволения сесть за стол, где сидит отец.

В женской половине дома нас семеро, включая четырнадцатилетнего сына Арсена. Спать ложатся на полу, вповалку. Мне

дают место на кровати. Я сопротивляюсь. Хава показывает, что кровать держится на честном слове. Все ломано-переломано. Я подчиняюсь. «Что ты, Эльвира! В Слепцовске нас было человек пятьдесят в одном доме. Ноги затекали насмерть. Изменить положение было нельзя. Лежишь как в колодке. А здесь можно и разбросаться». Место Хавы — среди детей на полу. Какое же это счастье, когда можно уснуть не под гул самолетов!

На границе с Чечней нас остановил крик: «Слава! Не выходи из машины». Сердитый крик принадлежал Асланбеку, одному из полевых командиров. Он первым заметил нас на границе. Отложил свои дела. Сел в машину и возглавил наш путь в Грозный в качестве охранника. При этом не забыл добыть нашему шоферу автомат с семью зарядами. С этой минуты я имею возможность свободно изучать то, что про себя назвала «феномен майора Измайлова».

Впервые я услышала это имя в Чечне в октябре 1996 года, когда с двумя боевиками разъезжала по Грозному. Я знала только их имена — Лечи и Асланбек. Они были очень молоды. Совсем мальчики. Но уже имели боевой опыт. Добровольно взяли сопровождать меня по обгоревшей столице.

Я увидела этих юношей в центре города, в так называемом междугородном переговорном пункте, приютившемся в чудовищных развалинах. Они пришли к своим друзьям, хозяевам пункта, у которых я коротала время. Шел разговор о том о сем, и наконец Асланбек сказал: «Я бы поставил майора Измайлова министром обороны».

— За что же так высоко? — поинтересовалась я.

— За отношение к солдатам, — услышала в ответ.

И еще: майора Измайлова чаще всего благодарили за правду. Этнопсихологи говорят, что в языках кавказских народов закреплено понятие, которое мы бы назвали «мерой», «правдой» и другими словами, приблизительно передающими то, что ощущается каждым кавказцем как «чутье на истину». Оно принимается даже в том случае, если неблагоприятно отражает твоё собственное поведение. Мера есть мера.

Их сорок с лишним. Мальчиков и девочек от трех до шестнадцати. У них одна мама — Хадижат. Рыжеволосая красавица. Сгружали еду все, от мала до велика. Босоногие. Едва прикрытые старой одежкой. Их теперешняя мама — сама детдомов-

ка. Как медсестра, работавшая в комендатуре, Хадижат столкнулась с первыми сиротами в самом конце войны. Тех, первых, было семеро. Она уже знала, что их не отпустит. Потом собрались и другие...

— Что, Хадижат опять спит? — это майор Измайлов витийствует в обшарпанном подъезде, где три квартиры принадлежат семейному детскому дому. К майору льнут все. Успеваешь схватить за руку прохожий — рыжий чеченец: «Вы майор Измайлов? Спасибо за правду».

Среди взрослых обнаруживаю трех русских женщин. Они — сотрудницы детского дома. Хадижат — их крыша. Это тяжелая доля. Уже не раз Хадижат избивали за покровительство русским. Мать всех детей стоит насмерть за русских женщин.

Первое открытое горе, которое попадает на глаза, — Айха Гериханова. 1935 года рождения. Здесь ее внуки. Бека — девяти лет и Белка — десяти. Зять умер до войны. Сын погиб в бою. Дочь пошла отомстить за брата. Погибла. Айха потеряла память. Что-то вспоминает, а то, что не вспоминается, обращается в муку мученическую. Квартиры нет. Сквозь бессвязный поток слов прорывалось одно главное и ключевое: «мое помещение». Еще на грузино-абхазской войне я обнаружила, как слова обнажают свой истинный смысл, когда с них слетает образность. Вот и Айха говорит о помещении... своего тела. «Мое помещение». Человеку негде поместиться.

Знакомлюсь с русскими женщинами. Одна из них — Наташа Бундина. Светловолосая. Молодая. Родилась и выросла в Грозном. Родители в Волгоградской области. Делала попытку уехать из Чечни. Не получилось. Сейчас вот не может оставить детей:

— Как я без них? А они — без меня?

Я знаю, что Наташу били наши федеральные мальчики. Об этом вспоминать не любит. Не может. А было это так: нужна была солярка разжечь костер, чтобы чай вскипятить. Послали к нашим. И — началось: «шлюха», «чеченская подстилка»... Били сильно. Не сопротивлялась. Но когда командир приказал Наташу раздеть, что-то внутри взбунтовалось. «Я лучше умру, чем ты меня разденешь». Откуда-то взялись слова, которых никогда не произносила в своей жизни. Ночью к ней домой пришли солдатики — извиняться. Это пьяный командир приказал бить русскую женщину.

— Знаешь, сначала взяла обида. Смертельная. А потом —

ненависть. Сейчас с трудом отхожу от той истории, — это Наташа сейчас о себе.

Из Грозного не уедет.

Все дети говорят с Наташей по-русски. С Хадижат — по-чеченски. Но и сама Хадижат часто переходит на русский. В семье есть русская девочка, изнасилованная нашими солдатами. Мотив всех ее речей, обращенных к матери, один:

— Мама, никогда не выдавай меня замуж.

У многих этот семейный дом вызывает сомнения. Нет порядка, необходимого государственному заведению. Много чего нет. Но есть главное — есть к кому обратиться со словом «мама».

— Пусть белый свет для меня померкнет, если я кого-нибудь из детей выделю. Они для меня одно целое. Вы можете определить, где мои дети?

Нет, я так и не угадала, кто родные дети Хадижат.

Галина Шамсутдинова — русская. Муж погиб вместе со своей матерью, свекровью Галины. Это было в январе 1995 года. Убило одной бомбой. Михаила называли ясновидящим. Это он сказал жене:

— Ты похоронишь меня без гроба.

— Ты что? С ума сошел? Я что, денег на гроб не найду?

Не нашла. Было не до гроба.

Им всем, пришедшим за водой к единственной колонке, казалось, что летчик видел их всех. Принесли воду. Михаил побежал в дом матери за ключами, а она, мать, шла ему навстречу.

Летчик все-таки сбросил бомбу. Галину отнесло волной, а муж и его мать убиты осколками. Обоих Галина закопала в огороде. Михаил оказался прав.

А еще она помнит, как свекровь в этот день ставила тесто. Хотела испечь любимые сыном пирожки.

— Быть беде, — сказала, — тесто первый раз в жизни посолить забыла.

Беда стряслась через несколько часов.

Галина печалится о сыне. Нервный стал. Сидели в подвале. Женщины послали сына за мешком сахара. Кипяток подслащенный был основной едой. Вышел из подвала. Попался на глаза нашим солдатам. Поставили к стенке. Расстрелять решили. Дали последнюю сигарету закурить.

— И ты взял? — это Галина.

— Я хотел прожить еще пять минут, — сказал сын.

А тут офицер откуда ни возьмись. Увидел сына — и вопрос:

— Ты татарин?

(Первый муж Галины — татарин.)

— Да, — сказал сын. Ему было уже все равно.

— Ребята, я забираю этого мальчишку с собой, — сказал офицер. Привел к себе. Поставил водку, тушенку, еще какую-то еду. И ну спрашивать: «Ты знаешь такую-то улицу? А такую?» Все про Казань спрашивал, поскольку сам оттуда. Сын сроду в Казани не был, но от страха поддакивал. Не знал, чем все кончится. Отпустили его и мешок с сахаром отдали. Офицер приказал тем же солдатикам, что собирались сына Галины расстрелять, нести мешок до подвала. Но сын понес сам. Вот с тех пор и проблемы. Случилось это 12 января 1995 года. А через день погибли муж со свекровью.

Галина держит на руках годовалую девочку-сироту. Ее нашли месячной среди трупов. Взяли ребенка на руки и долго стояли у разрушенного дома: может, кто хватится ребенка. Видимо, все погибли. Прехорошенькая девчушка, похожа на цыганку. В тот день ей нездоровилось. Галина рукой мерила температуру лобика.

...А мужа со свекровью она перехоронила. Теперь у Михаила есть гроб.

Они, матери российских солдат, узнавали о пропаже своих детей в тот момент, когда из военкомата к ним приходили с обыском. Им приносили грозную бумагу: «Верните своего сына на добровольных началах». Так их сыновья попадали в разряд СОЧ (самовольно оставившие часть). С этого дня родители сами добровольно, на свой страх и риск принимались за поиски своих сыновей.

В части им говорили так: «А вы их найдите и приведите к нам!» Когда пытались выпросить деньги на работе, им говорили: «Вот возьмите в части справку, что сын пропал, тогда...» Если сын находился, он тут же должен был написать заявление об амнистии. Мать тоже должна написать заявление с просьбой амнистировать сына.

Интересно, а Грачев писал заявление об амнистии? Пусть не обижаются на меня те, кто по долгу службы разыскивает наших солдат. Я вполне допускаю, что они работают. Но есть счет ма-

теринского сердца. Это счет и на время, и на пространство, на грех и прощение.

По этому счету многое в нашей жизни непонятно: почему отдыхает президент, если дети маются в плену, почему в отпуске депутаты, если до сих пор не решены вопросы обмена? Как быть с теми солдатами, которые не принимали участия в боевых действиях, но попали в плен? Они захвачены на станциях, в поездах и просто на дорогах. Не сумели определить, что пересекли границу Чечни. Таких в пятнадцатом городке около двадцати человек. Другие спрятаны в чеченских семьях, ждущих выкупа.

...Чего я только не слышала о матерях российских солдат: что они психически сдвинуты, что вся их акция — это организованная провокация, бросающая тень на наше правительство и президента (даже историческая аналогия проводилась: поход детей к гробу Господню), и даже — прости меня, Господи! — что женщины устроили себе южный курорт, освободив себя от домашних обязанностей.

Так вот свидетельствую: **они в полном рассудке и никогда не покинут Чечню, пока не найдут своих сыновей, живых или мертвых.**

Как только попадаешь в Чечню, начинает работать фактор пространства. Оно тоже, это пространство, одно и для сына (погибшего или живого), и для матери. **Мать дышит одним воздухом со своим ребенком — и в этом весь смысл!**

Любой шаг, сделанный в Чечне, воспринимается матерью как путь к спасению сына, даже если этот шаг опасен для жизни и ведет в никуда. Это все-таки действие, а не томительное ожидание.

Лилия Богатова — моя землячка, из села Мамоново Новосибирской области. Домой без сына не уедет. Он у нее один. Мужа нет. И таких много. Переписав адреса женщин, я поняла, что государство безостановочно лупит по социально уязвимым.

— Что же мне — поехать в свой дом и удавиться? — это вопрос ко мне.

Группа матерей и отцов (последних в мою первую поездку было шестеро) — в постоянном движении. Приезжают, уезжают. Но есть и старожилы, как Татьяна Ильючик. Разыскивает сына, пропавшего без вести в ночь на 1 января 1995 года. «Пропал в эту безумную ночь» — так она писала в письме, которое я увезла в «Комсомольскую правду».

Условно все живущие на Вольной, 121, делятся на три группы. Деление определяется судьбами детей. Есть аргунская группа: сыновья захвачены в Аргуне. Матери видели своих детей через день. Разговаривать не разрешалось. Просто стояли и смотрели на свое дитя. Приносили еду. Кого ею кормили — неизвестно. Дети менялись резко. Гасли звезды. Ощущение одно: их предали. Потом свидания прекратились — детей перевезли в другое место. Документы для обмена были собраны. Не хватало подписи генерального прокурора. Все подписи запаздывают. Кажется, сейчас с аргунской группой все в порядке. Преступников Джабраиловых амнистировали, и наши мальчики вернутся домой.

Вторую группу составляют родители детей, которые не принимали участия в боевых действиях. Они отличаются особым нетерпением: как же так? Войны нет, а ребенок в плену. Почему его никто не вызволяет? Они еще не успели уяснить, что государству наплевать на их детей.

«Мама, я прочитал твою записку. Быстрее заплатите выкуп и освободите нас. Мама, сделайте это без всякой глупости, а то нас не будет в живых».

«Отец, я прочитал вашу записку. Я очень рад, что вы приехали. Постарайтесь поскорее заплатить выкуп, а то нас не станет в живых».

Эти записки получили от своих детей Ирина Пустовалова и Анатолий Болотов. За детей требуют 60 тысяч долларов.

— Дорог каждый день. Нашим детям не становится лучше, — это Ирина, рассматривающая слепой снимок двух солдатиков, прикованных к огромному булыжнику. Один из них ее сын.

И, наконец, третью группу составляют матери, бродящие по Чечне третий год. Это самая трагическая часть родительского лагеря...

* * *

Светлана Беликова ищет сына с января 1995 года. Учительница. Муж — кадровый военный. Вынужденные переселенцы из Туркмении. Прошла все подвалы военной Чечни. Ходила с фотографией по всем фронтам. Нашла боевиков. Показала карточку. Сказали, что видели такого...

Потом боевики взорвались:

— Ты зачем сына послала воевать?

Светлана:

— Ну убейте меня, если я виновата. Что же стоите?

— Ладно, мать, прости нас, — сказали боевики.

Светлана поняла, что только с боевиками может попасть за линию фронта. Сначала не брали. Потом согласились. Но поставили условие: поесть в столовой.

— Господи! Ем, давлюсь слезами и все смотрю, не уехали бы они. Выхожу из столовой, а они все на одно лицо. Где же они, мои-то боевики? Где?..

Нашла. И — пошла по фронтам. Самашки... Шали... Новые Атаги... Ведено... Наши бомбили. Укрывалась с боевиками.

В Самашках подошел боевик Султан. Взглянул на фотографию. Сказал: «О, я этого парня знаю». Подошел Хусейн, сказал, что сын Светы жив. Пленный российский солдатик прямо так и сказал: «Олежка жив. Ранен не в плечо, а в предплечье».

Олег женат. Успел с женой пожить четыре дня. Свадебные карточки сына Светлана держит при себе.

— Вот скажите мне, почему за восемнадцать лет никто ни разу не спросил меня, как я растила своего сына. Хватало ли хлеба, молока? Сын принадлежал мне. Почему же после восемнадцати его судьбой распоряжаются все? Не мать, не он сам, а кто-то другой. Судьбой детей должна распоряжаться только мать.

Хорошо помнит российских солдатиков на Северном: лапша на доньшке. Знает, сама видела, как забывали про солдат, дежуривших на блокпостах, как они ели плесневелый хлеб. Нет, второго сына Светлана в армию не пустит. Решила твердо. Ни за что!

Пребывание родителей в Грозном может быть нарушено только чрезвычайным обстоятельством — такие болезни, как микроинфаркт или гипертония, в расчет не берутся.

Пока Валентина Крутоярова из Оренбургской области искала в Чечне своего сына Костю, дома завели уголовное дело на другого сына, уклоняющегося от армии. Валя, подруга моя, бросает поиски, мчится домой вызволять из беды другого сыночка. Смилоствовали: отложили уголовное дело на время поисков старшего сына в Чечне.

Есть еще два сына — Анатолий и Василий. Последний только пошел в школу, в «нулевку». Неужто всех сыновей отберут у матери?

За сыном, который пропал, числится СОЧ.

— Пробыть восемь месяцев в Чечне и заслужить СОЧ — это как? — спрашивает меня Валя.

Не знаю — как...

Матери стали профессиональными сыщиками. По крупницам, мелким деталям они воспроизводят ситуацию боя, в котором погиб или без вести пропал сын. Проходят сложнейшими маршрутами по всей Чечне. Взираются на любую гору. Преодолевают все препятствия.

Людмила Стукова, потерявшая сына в январе 1995 года, знает все доподлинно: как часть, в которой был сын, подставили. Как бежали солдаты, как ранили сына на вокзале. Нашла русского врача, сидевшего с двухлетней девочкой в подвале. Он был свидетелем ада, поглотившего сына Людмилы.

Мать знает, по каким улицам они шли. До товарного двора пройти не удалось. Раздался крик командира: «Бегите куда хотите». Ночью бежали. Есть свидетели, видевшие сына раненым в кассовом зале вокзала.

— Леша сидел. У него на лице была гримаса боли. Ведь гримаса бывает у живых? Я думаю, он не был убит.

Я киваю головой в знак согласия. Потом Людмила ездила по другим свидетелям. Говорили разное. Один будто бы слышал, как Леша сказал: «Документы не трогай». Пить просил. Потом потерял сознание. У него была не рана, а дырища. Больше Лешу не видел никто. Она повторяет в конце:

— Он хотел пить.

Последнее желание сына?

Люда вспоминает российских солдатиков. Помнит одного в Ханкале в феврале 1996 года. В большущих валенках. Ну чистый Филиппок и только. Маленький росточком, совсем ребенок. Он сказал, что матери у него нет. Воспитывала бабушка. Хотел письмо написать, но ни бумаги, ни конвертов в помине не было. «А сейчас где он?» — «Не знаю».

Еще вспоминает одного — безродного. Видела его в одной чеченской семье. Что-то у него было с головой не в порядке. Домой не рвался. Станный такой, но очень красивый мальчик. Потом до Люды дошел слух, что этот солдатик зарубил топором чеченца. Ну его и убили.

Все хотела понять, как строится работа родительского сердца. Когда услышала, что группа собирается к четырем часам на встречу с боевиком в школу номер 46, остановить меня уже было невозможно. Я забыла обо всем: о приказе не покидать двор, об опасности, угрожающей всем, о слете боевиков и о многом другом, о чем должен помнить каждый, кто попадает в Чечню.

Нас было шесть человек — пять женщин и один мужчина. Григорьев Григорий Яковлевич из Хакасии. Мне придумали роль. Я — сестра Полины Захаровой из Барнаула. Ищу своего племянника Пашу. Полина уже схоронила одного солдата и уверена, что он чужой. Не ее сын. Знает по приметам, известным ей одной. С мужем фактически развелась. Он уверен, что схоронил сына. Смирился. Все точно! Никаких эксгумаций! Полина ищет следы Павла. Находит. Снова теряет. Какая-то медсестра по имени Даша, увидев Пашу на снимке, сказала: «Я такого лечила». Кто-то видел Павла раненым, но сказал, что тот Павел не из Барнаула, а из Иркутской области. Полина вскрикнула:

— Эльвира! Ты понимаешь, это он, мой сын! Ведь раньше, до Барнаула, мы жили в Иркутской области. Все сходится!

Проходим рынок. Площадь. Весь город в боевиках. То ли слет какой-то, то ли рядом чей-то штаб. Обшариваем школу.

Здесь я была в девяносто пятом году. Здесь чеченские дети писали первые сочинения о войне. Они писали моим ученикам в Сибирь. С большим удивлением обнаружили, что существует кто-то на свете, кому небезразлична их судьба. Горе, переживаемое в одиночестве, обладает способностью удваиваться. Они очень быстро взяли в руки ручки и написали на отдельных листочках свои первые слова о войне. Они еще не знали, что испытания впереди, что война возобновится дважды с новой силой. А тогда, в сентябре 1995 года, казалось, забрезжила маленькая надежда, и детская рука выводила слова: «Не дай бог ни одному народу испытать то, что выпало на нашу долю».

Школа 46, слава Богу, цела. Встреча с боевиком Али, оказалось, назначена в школе номер 30 — рядом. Пришли в тридцатую. На первом этаже, похоже, сходка фундаменталистов. Очень молодые люди. Внутренняя сосредоточенность. Они — как натянутая струна. Кажется, женщины на сбор не допускаются. Я вошла и упорно спрашиваю боевика Али. На меня смотрят как на заблудшую овцу. Терпят. Наконец выясняется, что Али болен. Гриша из Абакана настроен решительно. Просит адрес Али, хочет попасть домой к боевику. Я отговариваю Гришу.

— Да нет, мне быстрее надо. Быстрее! Вдруг его найду! Сегодня пятнадцатое, а двадцатого у моего сына день рождения!

Мы с Полиной Захаровой выходим на двух чеченских посредников. Молодые ребята. Внимательно всматриваются в фотографии, которые передают им матери. На ксерокопированных снимках все солдаты одинаковы.

— Ну и что я узнаю по этой копии? Кто его узнает? В каком селе?

— Но вот у меня фотография. Она единственная. Больше ничего нет.

Мать протягивает оригинал и задерживает в своих руках. Это все, что у нее осталось от сына.

— Я же верну тебе. Сама подумай, зачем она мне? — спрашивает Аслан и тут же бросает взгляд на меня. Взгляд быстрый и точный: — А вы кто?

Я что-то плету про племянника Павлушу, но Аслан уже все знает про меня и дивится моему недоверию. Смысл восточных бесед мною уже мало-мало освоен. Вот и сейчас мы с Асланом «поговорили». Жалею, что не сказала правду.

Многие явления на чеченской войне принято объяснять стокгольмским синдромом. Это когда жертва принимает методы и мотивы преступника. Возможно, этот синдром и имел место.

Но история пребывания родителей российских солдат в Чечне говорит о другом феномене, вскрывающем глубинные сущностные силы **материнства** и **отцовства**.

Смена доминанты — так бы я определила то явление, с которым столкнулась.

Устремленная только к одному — найти своего сыночка, — мать попадает в чужой мир, в мир другого языка, другой культуры, других обычаев. Говоря языком пропаганды, она попадает во вражеский стан. Движимая только своей любовью и страстью, она тем не менее должна разделить горе другого народа, которое оказывается таким же, как ее собственное. Другого пути войти со своей бедой для нее нет. Человек другой нации включается в твои поиски часто по случайным обстоятельствам, и ты начинаешь видеть и понимать то, во что вникать совершенно не собирался. Ты обязан понять логику другого, его печали, иначе ты ничего не узнаешь о последнем пути своего сына. Зрение обретает объем.

— Как ты думаешь, Эльвира, легко ли мне, русской матери, идти по Бамуту, от которого не осталось ни одного дома? Вот сидит чеченка у разбитого корыта, а я к ней с карточкой своего сыночка: не видала ли ты, мать, моего ребенка? Не был ли здесь? А может, и был... Чеченка потеряла свой дом, весь скот. Потеряла сына. А я к ней со своей бедой... Как спрашивать мне ее, скажи?

Это ведущий трагический мотив российских матерей.

Все матери и отцы, живущие по году, два и более в Чечне, настоящие этнопсихологи. Они расскажут вам все о чеченском народе.

Например, почему чеченец привстает, когда машина въезжает на мост? Одни считают, что так облегчается дорога в рай. Другие полагают, что едущие облегчают участь моста...

Как надо вести себя, если едешь в автобусе, а у тебя нет денег? Виктор Мителев из Абакана:

— Ты, когда будешь выходить, обязательно скажи водителю, что у тебя нет денег. Он даже улыбнется в ответ. Но они не любят, когда выходишь, не объяснившись. Получается — как оскорбление ему наносишь. Обязательно скажи, не бойся.

Они расскажут, что чеченская мать точно так же ждет своего ребенка, как и русская. Хорошо бы начать обмен с чеченцев. Отдайте их детей! (Это требование Вали Крутойаровой.)

Они расскажут о гостеприимстве горцев. Виктор Мителев:

— Мне не позволили лечь на пол. А кровать была одна. Тогда хозяин положил по подушке в каждый конец кровати и предложил мне самому выбрать место. Не знаю, обидел я его или нет. Может, это оттого, что у нас веры разные?

Они расскажут, как жили неделями в чеченских семьях, разделяя с хозяевами все тяготы их жизни.

Люда:

—...Познакомилась с русской учительницей. Она меня вывела на чеченцев. До этого пять раз в Ростов ездила. Спасибо Щербакову (заведующий ростовской патолого-анатомической лабораторией. — Э. Г.), дай Бог ему здоровья. Пять часов на меня потратили. А потом начались хождения по Чечне. По рынкам ходила. Знакомилась с ингушами, чеченцами. Потом попала к боевикам. Однажды ночью спускалась с гор в сопровождении трех боевиков. Знаешь, когда я испугалась? Когда утром увидела, на какую гору взобралась. Дух захватило. Двенадцать дней пробыла в чеченском доме. Картошку с ними сажала. До сих пор спина болит. Там река Аргун протекает. Красивые места. Ходила к родственникам хозяев-чеченцев. Угощали чем могли. Помню, как в грозу спускалась с гор. Сплошная темень, кругом обрывы, а у меня в руках палка... Мне помогли все, кто попался. У меня так много теперь знакомых в Чечне!

Полина Захарова:

— Сына надо было искать в горах. А как попасть? Чеченка мне повязала платок по-своему, и боевики провели в горы. Выдавали меня за ее сестру. А она и была мне как сестра.

С гордостью рассказывают, как чеченцы убирают свой город.

Валя Крутойрова:

— Подумай, Эльвира, кругом развалины, а они мусор соберут и все метут, метут... С раннего утра. И все бесплатно.

Мария Кубата:

— Если проезжаем кладбище, автобус останавливается. Все молятся. Это для них свято.

Они знают, что для чеченца гость только три дня гость, а дальше — родственник.

Горе не ожесточило матерей и отцов. Душевное зрение на чужую боль стало острее.

Люда Струкова:

— В Пятнадцатом городке сидит мужчина. Разговаривать-то не дают. Но он шепнул свой телефон: 33-26-3... Деревня Бутереновка, что ли. Трудно было разобрать. Но Воронежская область — это точно. Жену Надей зовут. Ты позвони. Скажи, что он здесь. Родные про него ничего не знают. А мы жену в городок сводим!

Я дозвонилась. Деревня оказалась Бутырлиновкой. Жена Надя приехать не может, сидит с грудным ребенком. Ничего о муже не знает. Андрей Владимирович Емельянов. Гражданский человек. Ехал в Краснодар к отцу. Последние слова Нади не разобрать. Плачет.

Они ходят в Пятнадцатый городок, где содержатся пленные. Подходят к казарме. Смотрят на детей. Приносят еду.

— Не наши дети, но все равно родные, — это Гриша из Абакана мне объясняет, зачем ходит.

Сегодня видели очередного Филиппка, коими, как я поняла, укреплена наша могучая армия. Шейка тоненькая. Взгляд пугливый. Совсем ребенок. В ботинках на босу ногу. Хромает, ногу подволакивает.

Через день Филиппка — Сергея Худякова — освободит из плена майор Измайллов. Он приведет его в дом к матерям.

— Эту сцену не описать, — говорит майор. — Как они его мыли, одевали, кормили, обласкивали! Сын — и все тут.

Особый предмет родительской заботы — сироты. Если есть возможность заодно со своим сыном прихватить из плена сироту — прихватят непременно. Если отдадут...

Шестого августа чеченцы отмечали годовщину начала операции «Джохар». Шли фильмы о войне. Боевики стреляют. Мать:

— Вот так же, наверное, в моего попали...

Фильм смотрели молча, реплики бросали тихо:

— Смотри-смотри, какие они здоровенные все, боевики-то, а наши...

— Господи! Детей-то за что? Что их матери пережили! Смотри, ребенок мертвый... А у этих-то, деток, страх Божий в глазах. Что деется, что деется...

— Смотри, это ведь дома горят. Интересно, на каком направлении? Будто Ведено... Я была там...

— И кому это надо все было!

— Надо было всем бастовать. Посадили бы в тюрьму — сейчас бы вышли.

— С чеченскими матерями пойдем на Москву. Ты, Эльвира, передай им: пусть подметут уголок на Красной площади для нас. Палатку поставим.

— ...поставишь! Бульдозером снесут и тебя, и палатку, да дубинкой по голове получишь в самый раз.

— Девочки, я вот все думаю: почему генерала ни разу не украдут, а все наших детей?

Смотрят все программы. Идут новости.

— А про нас и наших детей опять ничего...

Это точно — ни-че-го!

Через сугки спокойно выносишь и такое:

— Да, да... Увезла в кулечке косточки сына...

— Дай Бог ей, если это кости ее сына...

— Могилу раскрыли, а там они без голов...

— Мы с Олей Миловановой перебрали в Ростове столько трупов. Все вагоны были наши...

— Роза Халишкова с сердцем в Ростов попала. Давление зашкаливало. А вот мое как на месте не стоит, будто болтается. Это что?

— ...Он еще жив был. А они написали, что скончался. Ответственность списать надо было...

Петра Олимпиева из Пскова я не застала во второй приезд.

Ищет труп сына. Семейное положение — типичное для тех, кто потерял своих детей: Петра сократили на работе, жену — тоже. Есть еще сын. Пошел во второй класс. Как хочешь, так и живи. Петрувозит останки солдат в надежде найти **свои**. Останки сына.

Однажды случилось и такое. Спасибо один полковник авиации помог. Дело было в Моздоке.

— А ты поищи за ангаром трупы. Тут на днях хоронили, может, что и осталось.

Осталось. За ангаром Петр нашел останки двух солдат. Без голов. Поехал в Ростов. Как вез останки? Говорит: просто. Попросил в части простыню. Потом полиэтилен. Такой мешок получился. В самолет не взяли. Пришлось в Ростов поездом ехать. Так с косточками и ехал.

Сына Олимпиева зовут Андрей. Олимпиев-старший уже два года в Чечне.

Ему один «пинжак» сказал: «Искать, кроме вас, никто не будет». Петр это понял сразу. Ищет сам. Приедет в сентябре-октябре снова. Чеченцы обещали: как соберут бахчевые, постараются череп сына найти. А без черепа ничего путного не выходит с выяснением, сын это или не сын.

* * *

А еще ходит среди родителей слух, будто из Сибири в Чечню лес пришел. А в нем записка: «Нас много в Сибири. Мы валим лес». И подпись: «Чеченцы».

Родительское сердце подхватило этот слух: вот бы этих чеченцев обменять...

Гриша Григорьев:

— ...А если у вас чеченцев нет, то так и скажите. Тогда надо другие меры. Послабления какие-нибудь чеченцам делать, чтобы они гужом волокли наших детей, живых или мертвых.

Приехал Любимов из «Взгляда». Его ждали. Готовили праздничный обед. Включенные камеры и микрофоны изменили материнские лица и речи. Начались заявления, так не похожие на подлинные страдания.

А рядом со мной медсестра Раиса Кузьминична Мусина из Воронежской области. Плачет:

— Дома увидят «Взгляд» и скажут: опять мама ничего не сказала про Сашу.

Саше 29 лет. Лейтенант медицинской службы. Поехал за ране-

ными. Пропал. Генерал потом говорил матери: «Мы ведь не знали, что каждые пятьсот метров у них засада».

Раечка размышляет:

— Что ты за генерал, если этого не знаешь и ничего рассчитывать не умеешь! Ведь сына послал. За что же ты генералом стал?

Сын рос болезненным. Он был поздним ребенком. Мать все думала: а вдруг он один останется — да больной? Пусть уж лучше врачом будет. Себя вылечит. Врачом стал. В Чечню послали.

— Господи! Лучше бы он пастухом был!

Она стелила мне постель. Мы легли позже всех. Ночью она то и дело вставала. Не спится. И все плачет. У мужа больные почки. Да и с работы ее, наверное, уволили. Кто будет ждать...

А еще печалит ее собственное немногословие:

— Жизнь прожила, а ни с людьми, ни с Богом говорить не научилась. Что ни скажут, я все только «да», «нет»... Что так узнаешь? Есть слух, что сын жив. Может, у Хоттаба работает в больнице. А как узнать?..

Так мы и просидели на топчане, пока родители беседовали с Любимовым. Она плакала, а я утирала ей слезы. Один раз она спросила как-то очень незлобиво: «Кто за все ответит?» После долгой, мучительной паузы сказала: «Мы отвечаем за все».

Более прекрасного человека я на свете не видывала.

Дай Бог тебе силы, Раечка! Дай Бог!

Дома брошены на мужей, если они есть. Или на соседей, если в доме нет хозяина. Таких большинство.

Мария Васильевна Кубата в Чечне год. Дом — на соседке. Денег нет. Здесь, в Чечне, есть время подумать о многом, в том числе и о том, почему не сумела «преодолеть барьеры, которых нагородила воспитанием». Это ее слова.

А было так. Маша увидела своего сына 18 июля 1996 года. Сердце сжалось. Предчувствовала беду. Захотела увезти домой.

— Мам, а как я ребятам в глаза буду смотреть? — это сын.

И вправду! Что же другие-то подумают... Вот они, барьеры наши.

Вертолет в тот день в Моздок не полетел.

— Мама, не уезжай. Побудь со мной еще одну ночь.

Это последние слова сына. Все!

Его называют здесь кузнечиком. Так похож он на одного из героев фильма Леонида Быкова. Судьба та же.

По вечерам из головы красавицы Маши вырываются волоски — один, другой, третий. Матери гадают на детей. Берешь роскошный Машин волос, продаешь через кольцо и застываешь в ожидании над фотографией сына. Если кольцо стоит неподвижно, сын мертвый. Если движется — живой.

Иногда что-то сбивается в гадании, и тогда охранник матерей боевик Аюб дает свою фотографию:

— Проверь на мне, я ведь еще живой!

Говорят, что охранники матерей — из отряда Салмана Радужева. Деньги им присылает Адам Имадаев, живущий во Владивостоке. Это он, Адам, в канун Нового, 1997 года перевез замерзших и голодных матерей и отцов из Ханкалы. В общежитии, где жили родители, уже были отключены свет, вода и тепло. Генералам матери всегда мешали.

Это им, генералам, принадлежат перлы: «Пленные — отработанный материал», «Меня не испугаете, я всю Чечню прошел», «Новых нарожаете», «Вы же матери убийц»...

Это — матерям об их детях.

Каждый перл имеет авторство. Родители помнят время и место произнесения каждым генералом его афоризма. Называть фамилии не хочу. Противно.

30 декабря 1996 года чеченец Адам нанял за свои деньги несколько грузовиков и перевез родителей российских солдат со всем их скарбом. Он отдал им свою родовую усадьбу. Она была разграблена. Но к приезду солдатских родителей быт отладили. Два дома со всеми удобствами, мыслимыми в Чечне. Не берет ни копейки. За свет, газ платит сам. Отдал и мешки с мукой. «Живите, сколько хотите. Будет мир — приезжайте, когда хотите. Как домой». Валя Крутоярова убеждала меня, что дом сдан на десять лет.

Матери кормят охранников, как своих.

Женщины располагаются в двух домах. Кровати двухъярусные, как в казарме. Между домами перекрытие. Под навесом — топчаны. Это прибежище мужчин. За порядок отвечают сами.

Я вышла ночью из спальни. У входа бодрствовал с автоматом боевик. Другие вповалку лежали в соседней комнате. Спят чуток, как на войне. Стоило мне взяться за ручку двери — проснулись все.

Овчарка Найда, любимица всех, на русских не лает. Такой у нее условный рефлекс. Меня, новенькую, обнюхала и ушла, завилав хвостом.

Военных облаивает всех, независимо от национальности. Майора Измайлова укусила за ногу.

На ночь массивные железные ворота закрываются наглухо. Поначалу охранники держали наготове автоматы. Сейчас охрана слабее. Иногда перед самым сном, когда во двор спускается темень, женщины спрашивают друг друга с тревогой: «Все охранники на месте?»

На сердце у них спокойно, когда Аюб, отложив автомат, играет в нарды. Сегодня, седьмого августа 1997 года, он играет с зятем Анны Ивановны Соловьевой. Ей семьдесят лет. Она лесовод. Ищет любимого внука Алешеньку. Прекрасная речь и точное мышление. Ей на смену приехал отец внука.

...Обнаруживаю аппарат для измерения давления. Начинаю измерять всем. У всех высокое. Запредельное. Все больны.

— Аюбу, Аюбу смертьте... Что-то он вчера прислонился к косяку и взялся за сердце, — это Анна Ивановна.

Аппарат зашкаливает. Но Аюб остается нас охранять.

Матери знают, что квартира Аюба разгромлена, что жена с двумя малыми детками ютилась семь дней в подвале. Аюб не мог прорваться к подвалу. Он и по сей день дрожит от мысли, что дети могли погибнуть.

На днях отмечали день рождения Люды Стуковой.

— Это правда, что ты танцевал? — спрашиваю я.

— Да. Танцевал. Жестоко.

Это означает, что Аюбу было хорошо.

Когда смотрю, как Аюб охраняет родителей, как матери кормят охранников, что-то в моем мозгу сдвигается, и я напрочь теряю ориентацию. Где правда? В чем она?

В чем смысл происшедшей бойни и всего того, что случилось со всеми нами, а главное — с нашими детьми?

Какова логика движения сейчас, сию минуту, когда мы все — единое целое: Аюб, матери, отцы, два родовых дома со всеми душами, живущими в них, собака Найда со щенятами, лунная ночь и чьи-то тихие шаги по ту сторону железного забора?

Где мы? Кто мы?

Недавно в доме на Вольной появился наш представитель. Он зачитал бумагу, из которой следует, что российская сторона не несет ответственности за безопасность российских матерей и отцов.

На этой бумаге стояла и подпись Махашева.

Сейчас мы ведем себя так, словно там, в Чечне, не осталось русских. Ни живых, ни мертвых. Словно там остались только враги.

А что, если однажды Аюб со товарищи покинет дом на Вольной, 121? А что, если..?

ОРЕХОВО

Отчетливо помню лица стариков-чеченцев в военной комендатуре Ачхой-Мартана, когда просилась в Бамут. Было это год назад. Ну не может комендант меня туда пропустить. А вот мне втемяшилось: Бамут, Бамут...

— Орехово, Гехи ничуть не хуже Бамута будут, — печалились за меня старики.

«Ничуть не хуже» означает, что они так же уничтожены, как Бамут.

Наконец вот оно, Орехово — совсем рукой подать до моего любимого Ачхой-Мартана. В село мы приехали вместе с Лечей Идиговым, представителем Чечни в Ингушетии. Здесь был дом Лечи. И дом его отца здесь был. Сейчас — пепелище. Некогда людное и богатое село превратилось в прах. Буйные заросли не могут прикрыть развалины — там и сям корячатся остатки того, что было чьим-то домом. Иногда увидишь часть какой-то утвари, но сила разрушения такова, что представить себе село жилым невозможно. Нет сил. Такое ощущение, что все здесь вымерло не одно десятилетие назад. Неужели так легко стереть человека с земли? Неужели?

Так чудно вдруг увидеть в этих каменных джунглях человека, копошащегося в земле. Что вообще здесь может делать человек? Но, оказывается, если он на пепелище своего дома, душа его прекращает метания, хотя горе нескончаемо. В каких глубинах веков создалась и закрепилась генетически эта нерасторжимая связь человека с местом его обитания, местом его рождения? Что значит для всей последующей жизни человека образ разрушенного, истерзанного дома, в котором жили деды и прадеды?

Я так и не спросила у Лечи, привозил ли он на пепелище своих детей-подростков.

Три года назад в знаменитой школе Амонашвили в Тбилиси я наблюдала за одним мальчиком. Он учился в классе Нателлы Амонашвили — жены Шалвы, прекрасной учительницы.

Дети мне объясняли смысл одного странного рисунка своего товарища. Рисунок назывался «Оквдраченное сердце». Сердце теряет форму и постепенно превращается в квадрат. Рисунок гениальным образом схватил момент *перехода* формы сердца в другую форму: части сердца с кровью падают вниз. У раскрытого люка в преисподнюю сидит черт и подбирает летящие части. Вверху ангелы слабо машут крыльями, не в силах ничего изменить. Автор рисунка Кекелейшвили объяснял, что компас жизни сломался. Части сердца работают вхолостую, и тогда они становятся добычей дьявола.

Среди тех, кто объяснял мне рисунок, был мальчик по имени Андрей. Он, казалось, лучше многих понимал смысл происходящего, но никак не мог справиться с речью. Она *рвалась*. Он болезненно ощущал, что чувство и мысль не облекаются в слово. Пытался помочь себе жестами, но жест не совпадал со словом. Речь рвалась и спорадически возникала снова. Ребенок страдал от невозможности воплотиться в слове. Это было так странно и страшно наблюдать. «Он видел, как умирала его бабушка от пули со смещенным центром тяжести. Он видел разрывное действие пули... И еще — на его глазах горел дом» — так объясняла мне речевое расстройство Андрея его учительница. Но только ли речевое?

За семь лет блужданий по горячим точкам я встречала много людей, психическое потрясение которых было связано с *потерей дома*.

В строящемся доме нас встречают отец, мать и сестра Лечи. Сацита — так зовут его сестру. В семье рождались девочки, а нужен был мальчик. И тогда отец воскликнул: «Сацита!» Почеченски: хватит! Так и назвали девочку.

Мать своих детей, Сацита с ужасом вспоминает войну: «Аллаху угодно было нас спасти. Каждую ночь ждала, что ворвутся солдаты. Соседей уже всех обошли. Почему они мимо нашего дома прошли? Почему? Знаешь, был момент, который для меня хуже смерти. Надо было бежать. С детьми. А корова собралась телиться. Живое ведь — не оставишь. Идут удары с самолета. Дети плачут. Скот ревет. А я стою и чувствую, что душа покидает меня. Она уже поднялась к горлу, вот-вот выйдет, и мне станет легче. Наступит конец. А душа не выходит. Застряла. Вот так я и стояла. Теперь знаю, что такое «не живой и не мертвый». Это я была в тот момент».

...Отсыпаю таблетки матери Лечи. Ем пельмени и отправляюсь смотреть окрестности. Метрах в десяти от дома Лечи стоит из досок сколоченный сарайчик. Плохонький-преплохонький. Рядом костер. На костре — огромных размеров походная кастрюля. Она заполнена водой, а на дне — три-четыре картофелины, мелко порезанные.

В зарослях мелькает какая-то странная фигура. «Не ходите, — говорит Леча. — Это Витек. Он не любит женщин. У него какая-то история приключилась в России с женой. Живет здесь уже много лет».

Я дерзаю подойти к сарайчику. Витек — в синей рубашке, истрепанных штанах и невымыто протертых сапогах. Руки у Витька золотые. Отменный мастер, может делать все. Отшельник. Или еще — «раб» Лечи. Самое большое богатство Витька — стеклянная пол-литровая банка с полиэтиленовой крышкой. В ней папиросы. Витек открывает банку, закуривает. Нарушаю запрет Лечи и предлагаю Витьку уехать с нами. Нет, в Россию он не поедет. До сих пор помнит, как, проснувшись однажды утром, увидел танки вокруг села. Их дула были направлены прямо на дома. Хава, жена Лечи, упала в обморок. Витек вышел из дома. Он увидел русские родные лица и ужаснулся возможной участи. Орехово разгромили напрочь. Витек уходил последним. Невыносимо жалко было коров. Потом след Витька потерялся.

Прошло года полтора. Однажды знакомый сказал Лече, что какой-то русский ищет его. «Что же ты его не привез?» — спросил Леча. «А он был с коровой и телком», — сказал знакомый. Леча понял, что это Витек. Телок превратился в прекрасную корову. Мы пили ее молоко, пока жили у Лечи. Витек молчалив. С трудом Леча узнал, что он вывел нескольких коров из горящего села, долго шел труднодоступными горными тропами, чтобы спасти живое. Спас одну корову. Ту самую, что привел к хозяйну.

К Витьку привыкли все. «Это член семьи», — говорит Хава и ничуть не удивляется, что Витек живет в развалинах. Он же рядом с тем, что было домом.

Когда смотришь через железный каркас веранды вверх, в небо, кажется, что ты — внутри гигантской клетки, из которой никакого выхода нет. Витек, похоже, на небо не смотрит вовсе. Наше появление ничего не изменило в течении его жизни.

Он ушел в середине разговора в свой сарай. Потом вышел. Направился в огород за травой. Набрал траву в кастрюлю и

снова скрылся в своем прибежище. Заныла и застонала душа моя. Отчего — не знаю. Скоро зима. Как будет согреваться Витек? Как долго проживет здесь? Вне своего дома. Вне семьи. Вне Родины. Вне России.

ДАВЫДЕНКО

Наконец я побывала в Давыденко. Об этом селе много раз говорили жители Самашек. Сюда их отгоняли перед штурмом. Они не хотели идти, потому что трудно **уйти из дома**, когда начинается беда. Дом кажется местом спасения. Это еще одна иллюзия всех, кто погиб в своем доме.

Моя подруга Серижа Умарова — мать замечательных учительниц русского языка и литературы — рассказывала, как они из Давыденко следили за разгромом своего села. Им казалось, что на этот — третий — раз вся военная техника мира была стянута к их селу, такой мощи были удары. «Все ходило ходуном... Они оказались правы, федеральные солдатики, — говорит Серижа, — когда выгоняли нас из села. Даже в Слепцовске было слышно, как бомбили Самашки».

А еще она вспоминает слова отца: «Христиане, православные — это люди, которых надо любить». Вспоминает, как маленькая дочь Седа остолбенела, увидев красный шар. После бомбежки самолеты выпускали красные шары. Ребенок подумал, что это бомба.

Они бомбили, не думая, что здесь **малик ду**. «Малик ду» переводится с чеченского как **ангел есть**. Ангелом называют ребенка до совершеннолетия. Серижа добавляет: «Эльвира, это не имеет значения, чеченский ребенок или русский». Просто малик ду. Просто ангел есть!

«Остохприла! Боже мой!» — все приговаривает Серижа, не в силах определить, чем обернется в ее детях то, что она назвала адским бешенством: третий штурм Самашек.

Случай, который привел меня в Давыденко, особый: мы с майором Измайловым должны увидеть двух пограничников, которые не возвращаются домой. Оба приняли мусульманство. Один работает в Грозном. Другой учится в медресе. Как лучший ученик он скоро будет отправлен продолжать образование в Саудовскую Аравию.

Нам быстро указали дом, в котором живет один из пограничников. Вышел хозяин. Чеченец, рабочий человек. Шофер. «Нет,

здесь русского никто не неволит. Если хочет, пусть уезжает. Но он не едет. К нему мать несколько раз приезжала. Да вот она и сейчас здесь».

Вышла молодая красивая женщина. На все вопросы отвечала: «Не поедет!», «Не хочет», «В нашей деревне пьют, а здесь — нет», «А чем мусульманство не религия?», «Главное — живой».

Что-то мешало мне принять ее слова. Странно обязательные. «Галя, пойдем за дом по женским делам», — сказала я при мужчинах, и мы отправились за угол. Лихорадочно размышляю над вопросом, которым хочу сбить Галину интонацию.

Мне не понадобились ни мои размышления, ни вопросы, которых я так и не придумала. Галя заплакала. Навзрыд. Она уверена, что сын хочет домой, но боится. Сколько бы я ни говорила, что майор Измайлов сам увезет ее сына и что он это сделает только тогда, когда ему будут даны полные гарантии безопасности, Галя знала, что не сможет победить страх сына: «Они убьют его или при передаче, или потом... У них есть много способов убить или посадить... Сын это знает... Он молчит, но я чувствую... Эльвира, ты бы осталась. Поговорила с ним. Часов в пять он приедет с работы из Грозного». Я не осталась. Не могла. И никогда не узнаю тайну двух русских пограничников, принявших ислам. С этого дня начнется мое **горькое знание одной страшной истины**, о существовании которой я даже не подозревала. То, с чем я столкнулась, принадлежало другой эпохе. Так мне казалось. Но та, другая, эпоха по-прежнему живет и перемалывает судьбы людей так, словно в нашей жизни ничего не переменилось. Не представляла, каким **тотальным** может быть **страх** единичного человека перед системой и властью.

Синдром избегания властей — так бы я определила болезнь беглецов. А если шире — **синдром бегства**.

БЕГЛЕЦЫ

Майор Вячеслав Яковлевич Измайлов освободил из плена Сергея Худякова, которому 14 марта 1997 года исполнилось восемнадцать лет. Мы по наивности решили, что больной военнопленный может ехать домой. Власти рассуждали иначе. Надо пройти казармы сборного пункта, где тебе дадут рваную форму. Потом госпиталь, если в нем есть нужда, и опять казарму — в ожидании дальнейшей судьбы. Есть случаи, когда срок службы

у солдата уже закончился, а он все еще содержится в казармах — бумаги на него не пришли. Сама видела таких солдатиков.

Бог судил нам с Сережей целых двое суток, когда мы жили в ожидании отъезда домой. В самый первый день пребывания в Москве мы пошли на Красную площадь. «Ты иди к Мавзолею, а я куплю мороженое», — это я. Но он шел так, чтобы все время видеть меня. До Мавзолея не дошел.

— Если в экскурсионной машине не хватит мест, ты поезжай один, а я тебя здесь подожду.

— Нет, — сказал Сережа, — я один не поеду.

Он волочил больную ногу в огромной тяжелой бахиле — эти бахилы ему дали боевики. Взгляд был безучастен. Невзирая на все просьбы экскурсовода «посмотрите налево, посмотрите направо», Сережа смотрел только прямо. На Поклонной горе он впервые произнес: «Это бы сфотографировать...» Что-то похожее на радость промелькнуло в лице и тотчас исчезло.

Зоопарк не произвел на него большого впечатления. Увидев гепардов, с тихой радостью сказал: «Кошки... кошки спят!» Не впечатлила рысь. У них в тайге водится рысь крупнее и окрасом лучше. Изумился, войдя в «Ночной мир», где собраны летучие мыши, крысы и все те обитатели, которых в любой деревне навалом. За что им такая почесть — сидеть за стеклом и быть освещенными — так и не понял. «О чем ты говорил с чеченскими охранниками?» — спросила я. «О чем с вами, о том и с ними. Обо всем, что люди говорят». — «Как кормили?» — «Получше, чем в части». И опять — молчание.

Пожалуй, только жираф пронзил нас своей неземной красотой и безразличием к нашему любопытству. Он несколько раз прошел мимо нас, видя и ведая то, что соответствует его росту. Мы покинули зоопарк, дивясь радости и виду многочисленной толпы.

Только на второй день через краткие отдельные реплики я поняла, как созрела у него и его друга Миши Бурлына идея — бежать из части.

Они пробьли в ней семь дней. В течение шести дней их били. Жестоко. Каждый день. «Почему не сопротивлялись?» — «А тогда поднимают в казарме ночью, и начинается “темная”».

Они уже знали, что после присяги будут бить сильнее. И по лицу. Сейчас, до присяги, по лицу не били.

Однажды соседу по казарме сделалось плохо. Солдата-ново-

бранца после избиения трясом трясло. Это случилось ночью. На следующий день их вызвал командир и сказал, что он был в Чечне, что контужен и что если кто будет ходить в санчасть, то он будет лечить его сам...

«Как сумел так быстро сговориться с Мишей? Ты ведь его не знал до армии?» — «Просто. Там об этом думают все». **О бегстве.**

Жалеет своего друга Мишу. Тот остался в плену. У Миши была записная книжка, в нее он заносил все: куда и какими путями шли, у кого жили, с кем общались. Все мытарства, связанные с побегом, в той книжке. Чеченцы сначала ее отобрали, полистали, а потом отдали. «Вот бы вам эту книгу». Он так и сказал — «книгу». Там все записано...

Там записано, как они сутками спали на земле. Как бродили в горах, как обходили блокпосты, как однажды остановили машину и, заглянув внутрь и увидев милицейскую шинель, поняли, на кого нарвались. Милиционер тоже сразу понял, что мальчишки — беглецы. Надел на них наручники, посадил в машину и провез через два блокпоста. «Он бы мог за нас повышение получить или какое вознаграждение, а он нас спас».

Хватаюсь за эту мысль Сережи и начинаю выстраивать свою «психотерапевтическую» линию: вот посмотри, Сережа, как тебе повезло! Милиционер спас, шашлычники, у которых вы работали двадцать дней, хоть и не заплатили вам, но не продали в рабство. А какая была замечательная чеченская семья! Помнишь: гроза, ливень. Вы стучитесь в первый попавшийся дом, и это оказывается дом чеченца, у которого сын погиб в боях. Чеченец предложил вымыться. Накормил, напоил, уложил спать, а наутро, узнав ваш маршрут, дал адрес своей родни. Он сказал: «Если будет плохо, возвращайтесь сюда».

А потом они сразу согласились на предложение какого-то чеченца ехать в Гудермес, чтобы попасть на железную дорогу. На вокзале в Гудермесе водитель крепко повздорил со своими земляками, которые служили на таможне. Вот они-то заковали Сережу с Мишей в наручники. Теперь было ясно, что это плен. «Сережа, а у тебя нет ощущения, что тот чеченец вас предал, что он устроил показушную ссору?» — «Нет, — говорит Сергей, — он хотел нас посадить на поезд... Нет, он со своими сильно ругался. Нет, он не виноват». Я тут же хватаюсь за ниточку-веревочку и веду «жизнеутверждающую линию», которую заканчиваю неожиданным, молниеносным появлением Измайлова в Пятнадцатом городке, где сидел Сережа. Ведь мог Измайлов

остановиться на другом солдатики. Посмотри, как все складывается!

Нить моя безжалостно рвется. «Я теперь никому не верю. И себе тоже».

Бегство как способ ухода от проблемы подкреплялось на каждом шагу, где приходилось встречаться с системой.

Ни разу, нигде, ни на каком этапе освобождения Сергея Худякова из плена он не услышал: «Молодец парень! Будешь теперь жить. Мы рады, что ты вернулся».

Комиссия по розыску и обмену военнопленных располагается в здании бывшего ЦК партии. Мы шли оформлять документы. Никто из комиссии не захотел взглянуть на мальчика, которого майор Измайлов с таким трудом вырвал из плена. Мы так и остались у стен Старой площади. На Сережу пропуск не выписали, на меня и подавно. Он сел по-крестьянски прочно на корточки и рассказывал, что в их местах сейчас всюду идет шишкование. Он предпочитает залезть на дерево и сбивать шишки, а не причинять дереву вред. А еще вспоминал, как учил собаку охотиться на зайцев.

— Я ее выпустил, а заяц как выскочит прямо на нее! И они играть начали. Собака ничего не поняла и все играла-играла, пока заяц не убежал...

— А ты потом травил собаку?

— Нет. Она же сама поняла, что заяц ее обманул. Очень обидно ей было.

Мы пришли на сборный пункт, чтобы приписать Сергея и дожидаться направления в госпиталь. Следователь был уже наслышан, что судьба Сергея под контролем высоких имен. Но жестким голосом произносил слова «побег», «уголовное дело»... Я сделала глупую попытку влезть с общей логикой: почему обсуждается побег, а не его причины? Оказывается, причина недоказуема.

Сережа сидел на краешке стула, закрыв лицо огромными крестьянскими ладонями. И вдруг заплакал. Плакал беззвучно, слезы лились сквозь пальцы. Он как-то уменьшился в размерах и стал похожим на старичка, будто хотел навсегда исчезнуть из этого мира — и не мог.

Он подумал, что мы с Измайловым его предали.

Потом точно так же он заплакал в госпитале, где белокурая

бестия врач крикливо потребовала сдать мочу прямо в приемном покое. Когда за Сережей плотно закрылась дверь одного из отделений, я вспомнила, как он рассказывал мне о чувстве закрытого пространства в плену. Их закрывали в семь вечера и открывали только утром. Через несколько дней возникло ощущение, что он никогда не выберется из плена.

Теперь всякий раз, когда за ним закрывалась дверь, а мы с майором Измайловым оставались снаружи, он был уверен, что плен продолжается.

Когда вступают в силу наши законы, не учитывающие ни психических состояний, вызванных пленом, ни чрезвычайных обстоятельств, в каких оказывается конкретный человек с конкретной судьбой, когда эти законы множатся на чиновничью бесчеловечность, мы получаем только одно — **бегство**.

Бегство из части, бегство из армии... Куда угодно — в плен, в другую религию, в другую семью, в волчью нору, чтобы только не было встреч с властью. Это как смерть. Да, надо умереть и родиться в другой стране, в другой вере, в другом пространстве. **С другим именем, другим людским окружением.** Надо все это принять, как принимают жизнь, иначе ты потеряешь шанс задержаться на этом свете.

Я все боялась, что Сережа сбежит со сборного пункта, если попадет туда после госпиталя. Кажется, он избежал сборного пункта и многого другого, что следует отсюда. Избежал ценой болезни. Весь месяц Сережа плакал днями. «Как увижу во сне что-нибудь из того, что было, плачу».

Я сказала неправду, что никто не радовался Сережиному освобождению. Радовались! Служители метро, зоопарка не просто пропускали нас бесплатно. Каждый раз они делали движение навстречу нам, словно хотели обнять нас и задержать в своих объятиях. В отделении подольского госпиталя все, начиная с врача Анатолия Александровича и нянечек, любили Сережу и делали все для возвращения его к жизни.

Слава богу, он скоро уедет домой, в маленькое село, где всего триста двадцать жителей, где мама — воспитательница детского сада, отец, который еще ни разу не давал сыну ружье на охоте, где друзья-товарищи и где Сереже надо срочно пересдать экзамен на водителя, а права на трактор у него уже есть. Он впервые широко улыбнулся, когда сказал: «Мама уже выслала шишки Нелли Константиновне». Нелли Логинова была ангелом-хранителем Сережи в Москве.

...Не понадобится встреча с властями двум пограничникам. Приняв другую веру и другое имя, они навсегда освободили себя от изнуряющих доказательств, что ты — человек и имеешь право на жизнь.

* * *

Еще тогда, когда машина шла из Давыденко в Назрань, я знала, что не сумею рассказать о том, что видела. Я и сейчас страдаю от той немоты, что не давала мне покоя все дни пребывания в Чечне. Что же это было все-таки? Что?

Разговор один на один сначала с одним пограничником, потом с другим. Ведь были же эти разговоры. Были. Но каждый раз, когда я пыталась выразить в слове все, что реально происходило в двух чеченских домах, слово изменяло мне, и я понимала: **сказанное** есть фальшь. Фальшь до мозга костей. С этим ничего поделывать было невозможно. А еще: всякий раз, готовясь произнести слово, я начинала плакать. Было непонятно, отчего слезы: от жалости к пограничникам, сменившим свое имя, от жалости ли ко всем участникам давыденковской истории? А может, были они, эти слезы, платой за невозможность не только высказать, но и **понять** все, что стоит за судьбами двух молодых пограничников, не захотевших вернуться на родину? В Россию. Как только давыденковская история получала шанс вербализоваться, она сразу становилась другой. Становилась **неправдой**. Не только в психике нашей, но и в жизни есть целые пласты, лежащие по другую сторону *слова*. В нем, этом неназванном тигле, вершится чья-то судьба и самое потаенное, самое главное для человека. Каким-то неведомым чувством ты улавливаешь это невербальное пространство жизни и **замолкаешь**, остановившись перед тайной того, что **не имеет имени**.

Я впервые в своей жизни столкнулась с историей, которая начиналась, формировалась и получила свое завершение в **молчании**.

Однажды, в ноябре 1995 года, хлесткое печатное слово об этой истории чуть не привело ее участников к роковому концу. Пограничников, слава богу, не расстреляли. Их молодым жизням пока ничто не угрожает. Но я **боюсь**. Боюсь, как бы и мое слово не оказалось невольной провокацией. Я дала себе зарок на этот раз промолчать, но мысль, что эта история еще может получить **другое** продолжение, вынуждает меня рассказать обо всем, что я видела поздним вечером 28 сентября в чеченском

селе Давыденко, что в двух шагах от моего любимого Ачхой-Мартана, в котором живут мои прекрасные друзья чеченец Хасмагомет и русская учительница Нина Макаренко, мой главный путеводитель по чеченской истории.

Итак, если все по порядку...

ИГОРЬ (ИДРИС)

Нас трое: Леча Идигов, майор Измайлов и я. Подъезжаем к дому, в котором были в июле: тогда пограничник Саша Ковалев находился на работе в Грозном. Другой — Игорь Лавер — на учебе в медресе. Была мама Саши, измученная двойственной ситуацией: на родине сын все еще считается дезертиром и военкомат (видимо, за отсутствием другой работы) развивает бурную деятельность по поимке того, кто уже сменил свое имя. Рикошетом эта деятельность попадает в мать Саши, меньших братьев, которых дразнят чеченцами.

На этот раз Саши снова не оказалось дома, и мы махнули на Садовую, 47, к Игорю Лаверу, который теперь Идрис. К нашей миссии присоединился Султан, один из братьев полевого командира, в доме которого живет Саша, то бишь Саид. Идриса в доме не оказалось. Он был в огороде. Его названная мать Язман, хотя и проявила горское гостеприимство, взволновалась нашим приходом чрезвычайно. Она не сразу пошла в огород за Идрисом. Она делала какие-то странные движения по двору, словно хотела отсрочить нашу встречу. Потом, не выдержав, прямо спросила у Лечи:

— Эти русские не сделают плохо Идрису?

Пришел Идрис.

Майор Измайлов был настроен решительно: мы берем в Москву двух пограничников. Они живут в его доме. Он гарантирует им безопасность. Как только решится вопрос о прекращении уголовного дела, которое заведено на пограничников, оба — Саша и Игорь — могут распорядиться своей судьбой как захотят. Ну а если не поедут, мы берем с собой заявления, в которых заявители рассказывают, что они шли защищать своего товарища, попали в перестрелку и были захвачены в плен.

В молниеносных вояжах майора Измайлова, заканчивающихся освобождением военнопленных, выработался свой ритм, свое построение сценария.

С первых секунд появления Идриса во дворе дома отработанный сценарий начал давать сбой. Идрис не хотел ехать в Москву и не хотел писать заявление.

— Я не буду лгать, — сказал он. — Мы не шли за товарищем. Мы просто ушли из части.

Тут мы с Измайловым понесли наш совковый вздор, смысл которого в том, что Родина совершила большую ложь, послав их в Чечню, и потому та ложь, которую они изложат в заявлении, уже как бы и не ложь, а нечто другое. Запутавшись в определении масштабов лжи государственной и личной, мы смолкли, как только поняли, что перетягивание каната с официальной верхушкой Идриса **не волнует вовсе**.

Нет, он не поедет в Россию. Он останется здесь. Он принял ислам. Начал новую жизнь. Точка.

Значит, нам надо уходить. Навсегда. Отчаянию нет предела. Бросаюсь в омут с головой:

— Давай пойдем поговорим... в курятник.

Пока Язман ходила за Идрисом в огород, я облазила двор и заметила пространство, захваченное курами. Эдакий курятник под открытым небом. Справа открывался вид в поле. Там паслись овцы. А дальше, совсем дальше были горы, которые своим существованием говорили о другом, надмирном бытии, так не похожем на все то, что происходило с нами.

Идрис странно быстро согласился. И мы — пошли.

Наш разговор длился более часа. Вот о нем-то я и не могу ничего сказать. Нету слов. Все то, что я здесь сейчас наплету, есть слабый и искаженный отпечаток события, которое называется **встречей**.

Да, мы встретились. Я — на закате своей жизни неизвестно зачем мотающаяся седьмой год по горячим точкам. Он — в начале новой жизни.

Я успела его рассмотреть. Он высок и строен. Огромные серозеленые глаза. Густые ресницы. Пробивающаяся борода. Мусульманская шапочка. Руки мастерового. И мощный интеллект человека, много думавшего и думающего о жизни вообще и своей в частности.

Моя задача — обратить Игоря к прежней жизни — **отпала сразу**, потому что передо мной стоял не Игорь, а Идрис. Все попытки сквозь новый облик увидеть прежнего Игоря заканчивались неудачей. Я полагала, что фокус будет двоиться. Нет, передо мной стоял человек, пришедший к новой вере и новому

имени трудным путем. Однако трудности перехода от одной жизни к другой мне уже не видны. Этот переход уже завершился. Мы с майором Измайловым опоздали.

Он не говорил ни о своей части, ни о побеге, ни о смерти, которая ему угрожала. Он сумел изжить прежнее через другую веру, которая открылась ему в плену. Было видно, что к разговору он готов давно, потому что формулировал мысли отчетливо, не повторяясь.

Я все-таки задала ему вопрос: было ли принятие ислама средством избежать смерти?

Вопрос ему показался глупым. Он сказал, что чеченцы такую ситуацию хорошо чувствуют.

Начался ислам для Игоря с любопытства и острой духовной драмы, завершившейся бегством из части. Стал присматриваться к чеченцам, читать книжки. Потом Коран. Верит в возможность существования других религий, но полагает, что универсальная, охватывающая все другие религия — это ислам. Почитает Ису, то есть Иисуса Христа, но считает, что именно Мухаммед был послан Аллахом, чтобы объединить всех людей на земле.

Говорит об исламе профессионально. Коран считает великой книгой еще и потому, что в отличие от Библии и других священных книг в Коране за века не изменилась ни одна буква.

Почувствовав себя в зоне абсолютной безопасности, я задала Идрису вопрос, который уже не раз задавала мусульманам: а правда, что по Корану можно убивать неверного?

Нет, говорит Идрис, Коран дает советы, как вести **переговоры** с неверными.

Идрис заговорил о грехах народа, к которому принадлежал.

— Вы были когда-нибудь в Самашках? — спросил меня.

— Да, была. Три раза. Там у меня много друзей, — пыталась я сбить интонацию Идриса.

— Вам не было стыдно, что вы русская?

— Было... А как же иначе?

Хотя многие мои знакомые предлагают мне **отделять** действия народа, нации от государства, я и на этот раз сказала: да, мне, русской, стыдно в Самашках за то, что я русская.

— Мы падающая нация, — сказал Идрис, впервые за время разговора включив себя в одну со мной общность.

«А не было ли принятие ислама своеобразным актом покаяния?» — подумалось мне. Но ясность и точность мышления Идриса не располагали к поиску версий. Он выбрал. Как человек имел право. И это было видно.

— Это правда, что тебя как лучшего ученика хотят отправить в Саудовскую Аравию учиться?

— Да, был такой вариант. Но учеба отняла бы пять—семь лет, а что будет с этой землей? Ее нельзя оставлять надолго.

Он рассказал, что есть идея создать джаамат — общину. Обещали дать землю. Соберутся люди. Будут обрабатывать ее. Молиться. Будут жить.

Мимо нас через калитку, открывающую вид на поле, где пасутся стада, несколько раз проходил мальчик-подросток. Звали его Резван. Идрис несколько раз обращался к нему с какими-то делами по хозяйству, и Резван тут же исчезал. Было видно, что Идрис в доме хозяин.

Мало-помалу я смирилась с выбором Идриса, и виной тому не были слова. Виною тому были лицо и стать Идриса. Я впервые видела, как дух пересоздает наш внешний облик. Нашу биологию. Гармония слова и облика была ошеломляющей. Передо мной стоял Мусульманин. Чтобы понять это, слова были не обязательны.

Нет, он не будет писать никаких заявлений. Никаких просьб к Отечеству у него уже нет. Ну, а если мы сами напишем за Игоря Лавера слова, нужные, чтобы Родина прекратила считать его изменником? Нет, это уже совсем дурно — подписывать чистый лист.

Мы вернулись из курятника во двор. Миссия моя провалилась. Но откуда ощущение, что в моей жизни что-то случилось? Что же?

Майор Измайлов предлагает сфотографироваться. Идрис наотрез отказывается. Язман просит:

— Сынок, иди сюда, встань рядом...

Сынок встает рядом.

Заготовленные нами листы бумаги чисты. Ни заявления, ни подписи.

Неожиданно в дело вступает тяжелейшая артиллерия — чеченцы. Султан Исмаилов и Леча Идигов. Казалось бы, поведение Идриса должно было льстить им. Но им было не до тщеславия. На собственной шкуре, опаленной войной, они знали, что такое родина, вера, народ, семья.

— Сынок, — говорил Леча, — ты пойми, я сам мусульманин. Тебе было тяжело, и ты нашел дорогу к Аллаху. Но есть дорога к твоему дому. К твоей матери. Братьям, которые меньше тебя и им небезразлично, как складывается судьба их старшего брата. Это ведь связано и с их будущим!..

— Сынок, — говорил Султан, — под знаком веры надо родиться. В вере воспитываются с пеленок. Ты волен в выборе, но не уходи от шанса быть на Родине. В своей семье. Там, где ты родился. Я вижу, у тебя здесь твой дом, но он и там, где твои родные. Это проверено веками и не одним поколением...

Они не перебивали друг друга. Слово одного подкреплялось словом другого.

Мы с Измайловым притаились, как мыши. Все действие принадлежало им, немолодым чеченцам. Они, чьи дома порушены напрочь российской армией, просили за Россию, за ее землю, за ее матерей.

Значит, вот как оно бывает на свете... У Лечи Идигова в Орехове уничтожен дом. Тяжело заболели жена и младшая дочь. А он — про родину, которую нельзя забыть, про Россию...

Тьма наступила быстро, как это бывает в горах. Но отчетливо были видны лица говорящих. Они сделали то, что нам не удалось.

Идрис взял белый лист бумаги и красивым почерком по-арабски написал свое имя. Потом, поняв мое замешательство, спросил:

— А прежнее имя тоже надо написать?

— Да, — сказала я и перевернула лист бумаги.

Между этими двумя росписями — целая жизнь. Старое имя еще хранит юношескую угловатость и неуверенность, в новом имени — дыхание человека, обретшего покой.

Потом Идрис стремительно выбежал. Созывал людей на намаз.

Сюда, на Садовую, 47, пришел Саид.

В прошлой жизни Александр. В прошлой жизни пограничник.

АЛЕКСАНДР (САИД)

Он напрочь отказался от всех объяснительных, но согласился на разговор в курятнике. Результат тот же: не поедет. Не вернется.

Язман созывает на чай, но мы едем в дом Исмаиловых, где

живет Саша. Кто-то останавливает нашу машину. В темноте различаю лицо Идриса.

— Вернитесь на чай. Прошу вас, вернитесь.

Неосторожно дотрагиваюсь до руки Идриса. Он отдергивает руку и еще раз просит нас как хозяин дома на чай. Ах, почему мы не вернулись? Почему? Что-то **прежнее** мелькнуло в лице Идриса. Из той, другой жизни. Или мне это просто померещилось во тьме...

Саша знакомит нас с новой родней. Главное слово принадлежит бывшему полевому командиру Сулейману Исмаилову. Очень молодой человек. Легковозбудимый и решительный. Наше позднее появление внесло разлад в дом. Саша удаляется с Сулейманом в другую комнату.

Разрешение на заявление получено, и мы с Сашей идем в соседний дом, принадлежащий одному из братьев Исмаиловых.

Как и всюду, отменная чистота, порядок.

Погас свет. Саша приносит свечу, и с этого момента весь рассказ, похожий на исповедь, шел через пламя свечи. Я держала свечу в руке. Воск плавился и покрывал мою руку жаркой коростой, но я ничего не чувствовала — ни ожога, ни боли. Боль была там, внутри. С ней ничто не могло сравниться.

Он действительно писал заявление и после каждого слова останавливался, потому что знал: написанное есть лишь ярлык события, но не его суть.

Он отслужил ровно шестнадцать месяцев в погранвойсках. Из них три — в Таджикистане. В знаменитом Московском погранотряде. Ему нравилась служба в Таджикистане. Там были отличные ребята. Уезжать не хотелось, но ему был положен отпуск на пятнадцать дней, и друзья посоветовали им воспользоваться.

Отпуск не дали. Ни за Таджикистан, ни за службу в других «горячих точках».

Уже с Железноводска начал постигать то, что называется неуставными отношениями. Но было терпимо. Терпел. Терпел, когда в Дагестане их сменяли не через два часа, а через восемнадцать. Было и такое. Терпел бесконечные ночные подъемы и высадки на сопки. На то она и служба. Служить нравилось. Но уже тогда задумался: что за постоянные угрозы: «Пойдешь под приказ!» За что?

— Он спит, наш начальник, в бэтээре, а мы мокнем на соп-

ках. Это куда ни шло. Но кто дал ему право на нас орать и издеваться? — называет фамилию обидчика.

Мысль о побеге пришла первый раз, когда Дума приняла решение продлить службу в горячих точках с полутора до двух лет:

— Вот, значит, мокну я и зябну на сопках и думаю: а почему я здесь должен пробыть дольше только из-за того, что какой-нибудь крутой козел деньгами отмазался от армии? Почему?

Мысль о побеге как спасении окончательно сложилась в течение двух последних недель, когда шла операция «Загнуть».

— Мордобой еще можно стерпеть, но загнуть — это лучше умереть.

Человека не сгибают, а погибают, чтобы ничего не оставалось от его воли, чести, совести. Причем загнуть надо вооруженного человека.

— Представляете, если я с оружием, когда могу ответить, погибаю, то что можно сделать со мной, когда я без оружия? Все! На это расчет: загнуть нужно затем, чтобы после дембеля забрать все причитающиеся тебе деньги. И мы — ушли.

Взяли оружие. Боеприпасы. Своих не тронули. Остановили первую попавшуюся машину — там были женщины с детьми. Отпустили. Та, которой воспользовались, была им уже известна. По номеру. Когда стояли на блокпостах, видели машину с «торчками». Наркоманы из Дагестана. Выстрелили в землю. Испугали. Понеслись к ущелью. А дальше — известно.

Перед рассказом о расстреле свеча гаснет. Саша уходит во тьму. Приносит спички. Зажигает и рассказывает о той статье в «Комсомолке», подписанной Андреем Чужим. По спазму, который перехватил глотку, я могу понять, чего стоил ему даже рассказ об этой статье.

— Если бы вернулся в Россию и увидел этого журналиста, поверьте, я не просто посмотрел бы ему в глаза.

Однажды полевой командир Сулейман скомандовал: «Пошли в поле!»

Он знал, зачем уводят в поле. И — пошел. Что чувствовал? А — ничего! Расстрел уже жил рядом. От своих или чужих. Уже тогда помогала только молитва.

В руках у командира была «Комсомольская правда». Саша тогда не знал, что там было написано о них. Конкретные имена. Фамилии. «Идем мочить “чехов” (чеченцев), — пояснили они

сослуживцам, прежде чем отправиться в рискованное путешествие».

Это написано про них. Про Мишу Бессарабца, Игоря Лавера и Сашу Ковалева. Можно себе представить, *как* это читали чеченцы. Они прочитали. Это для них стало сигналом: пограничников заслали. Решили ликвидировать...

Пришли в поле. Сулейман медлил, потом снова сказал: «Пошли!»

Пошли в лагерь. Не расстреляли. За минуту до расстрела Сулейману пришла в голову мысль: а что, если русские хотят руками чеченцев убрать своих военнопленных? Выполнять задание русских Сулейман не захотел.

Саша остался жить. Но теперь он был Саид. Бесповоротно.

Свеча уже догорала, когда в дом вошла старшая невестка — Мариам:

— Вот пришел он, Идигов, я его знаю... Измайлова сто раз видела по телевизору, а вот теперь еще эта...

Недружелюбное «эта» относилось ко мне, но быстрый взгляд Мариам был обращен к Саиду:

— Сынок, что они дают на твою психику? Не слушай их. Вот сидели двое русских в Ачхое, а потом попали в Россию — их посадили. Теперь они в Сибири. Родители прислали слезное письмо в Ачхой: лучше бы здесь сидели...

Хочу заикнуться, что я из Сибири, но Мариам уже узрела кровь на шее Саида:

— Я тебе давала пластырь. Зачем отодрал?

От белой простыни отрывается кусок. Саид вытирает кровь. Я не унимаюсь и говорю о пользе официальной бумаги.

— Кто ее напишет? — витийствует Мариам.

Я неестественно гордо и громко произношу:

— Россия!

— А-а-а, — взвывается Мариам, — Россия?! Кто поверит в мире? Она утром подписывает, вечером отменяет... Не верь, сынок!

Что правда, то правда. Мариам не сбила нашу беседу. Саид совершал путешествие в ту, другую жизнь настолько ярко и зримо, с такой отдачей жизненных сил, что мне легко было представить, как он служил, каким был товарищем. Смертельная обида заливала сердце мое, стоило только понять, от каких сынов открестилось наше возлюбленное отечество. Потом он с болью

вспоминал солдатика-баптиста, над которым измывались офицеры.

— Он не только не умел стрелять. Его убеждения не позволяли ему дотрагиваться до оружия, а они потешались над ним.

Потом солдатик сбежал. Позже они встретили его — больно-го, опустившегося, грязного.

— Наша новая вера не позволяла нам опускаться. А его вид был ужасным.

Он так и не знает, что сделалось с этим хилым баптистом.

Рассказывал про Мишу Бессарабца. Как помогали эксгумировать труп, как сами нашли машину, инструмент, как ни шатко ни валко работали те, кто должен был помочь матери найти останки сына. Отношение власти к павшим лило воду на мельницу, что стояла на чеченской земле.

Свеча уже не подавала признаков жизни, когда Саша поставил число на листе бумаги, написанном легким почерком. У текста, начинавшегося словами «Я, Александр Николаевич Ковалев...», не было заглавия. Саша протянул мне листок, и я посмела молвить:

— Но ведь это и есть заявление?

— Вы хотите, чтобы я это написал?

— Да, — сказала я.

Он написал: «Заявление».

Так кому же в голову пришла мысль считать, что наше с Измайловым путешествие не было успешным? Даже если ничего больше не произойдет, кто-то должен был из России прийти к своим сыновьям и выслушать их. Счастью моему предела нет: я теперь знала подлинную цену каждой букве заявления. И эта цена была — жизнь.

Мы вошли в дом, где нас ждали братья Исмаиловы. Женщины готовились накрыть стол, но была уже кромешная ночь. Темнота так плотно опустилась на землю, что заполонила собою все, не оставив возможности отделить небо от земли. Все было одно, едино — стояла тьма.

Провожать во двор вышли все, мужчины и женщины.

— Я вижу, вы теряетесь и не знаете, кого обнять, — говорит Сулейман. Это он говорит обо мне. И он прав! Я готова обнять весь мир после таких двух встреч с пограничниками, распорядившимися судьбой на свой страх и риск.

— Давай обнимемся, Эльвира! Ты думаешь, они такие право-

верные мусульмане? Да они лентяи. Лодыри, скажу я тебе! Им лень после объятий вымыться и помолиться. Правду говорю. — Это старший брат Исмаиловых. Веселый Супьян, гарант спокойствия и жизни Александра Ковалева, которого в доме, да и во всем поселке Давыденко называют просто и коротко: Саид.

Нас не хотят отпускать в ночь. Полевой командир горько шутит:

— Посадят вас в яму, вот и переживай тут.

Но мы уезжаем. В руках у меня два листочка. Первое после 1995 года послание на Родину. Сделает ли Родина ответный шаг?

Я многого не поняла в этой истории, но встреча с Идрисом и Саидом неожиданным образом вернула меня к моим собственным ученикам — в 1989 год. Год выхода «Архипелага ГУЛАГ». Помнится мне, они все тогда ухватились за одну мысль Солженицына, которая не давала им покоя. Об отсутствии сопротивления. Почему жертва спокойно ждала своего палача? Почему все согласилось молчаливо нести крест, заготовленный тираном?

Теперь я вспоминаю, что вопросы с юношеской жестокостью посылались и мне, их учительнице, спрятавшейся в чтение и изучение книг. Я не знала, что ответить своим ученикам, и вот теперь увидела, как **жизнь** отвечает на эти вопросы.

Еще совсем недавно, размышляя над тайной двух пограничников, я писала о бегстве как способе решения возникающих проблем. В этом есть правда. Но **не вся**. А суть заключается в том, что бегство, как это ни парадоксально звучит, содержит позитивный момент. Это способ сказать «нет!». Нет — системе, властям, тому порядку жизни, где человек превращается в ничто, где человек — средство достижения политических целей. Они не просто убежали. Они сказали: нет! Неправде и лжи. И сделали попытку выстроить жизнь на новых основаниях. Они отказываются от ролей героев и мучеников, потому что каким-то образом догадались, что **у человека есть право на выбор перед лицом своей судьбы**. Они воспользовались этим правом. Они сделали нечто, что я тщетно пыталась вычитать из книг, не подозревая, что отвечать на вопросы жизни можно кардинальным изменением вектора своего бытия, чтобы не утратить свою собственную сущность.

**МАЛИК ДУ! — АНГЕЛ ЕСТЬ!
(ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ)**

О Аллах! Ради рожденного и не знающего языка, ради прикованных к постели старых наших людей, ради животных и птиц, не знающих языка нашей республики, остановите войну.

Байдуева Фатима

О Аллах! Наши глаза плачут уже два года... Неужели не хватает слез, крови наших матерей, сестер, братьев и самых близких людей на свете?

Арсаликова Хеда

О Аллах! О люди, помогите! Мы два года не можем смотреть на красный цвет.

Дайте нам разрешение жить своими силами и нормально закончить школу.

Бекаева Хеда

Пожалуйста, уберите войну. Мы любим нашу Родину.

Фатима

Это мольба. Это молитва. Они писали при мне, маленькие дети школы Ачхой-Мартана. Их учительницу зовут Раиса Вахаевна Гайраханова.

Когда я спросила, какой это класс — первый или второй, она сказала: «Это невинные создания». Я уже знала, как это звучит по-чеченски: «малик ду» — ангел есть!

Да, есть ангел, но нет жизни.

Это ни с чем не сравнимая миссия — просить детей написать о том, что было. Мой первый опыт 1995 года во взорванном Грозном убедил, что дети мудрее взрослых, что процесс письма есть не изживание того, что было, а попытка найти собеседника, способного понять тебя.

Но каждый раз войти в класс — это пытка. Получить свидетельства на месте неутраченного горя — задача не из легких. Можешь нарваться на что угодно. И тот, кто это «что угодно» организует, будет прав. В этом все дело.

Был только один случай, в девятом классе, когда юноша попросил разрешения написать сочинение дома. На следующий день он принес трактат, в котором с голоса взрослого рассказывалось о вероломстве России и русских. Он передал это сочине-

ние завучу школы, русской женщине, и ждал ее реакции. Она сказала, что вполне понимает настроение семьи, и это хорошо, что мальчик писал вместе с папой. Но можно писать и иначе, сказала она. Можно сделать попытку самому понять.

Я спросила своего друга Хасмагомета, директора школы: есть ли у него ощущение, что Чечня на этот исторический раз победила? Он сказал, что я неправильно сформулировала вопрос. Речь не может идти о победе Чечни над Россией:

— Просто на этот раз Россия не победила чеченцев.

Я задавала этот вопрос многим в Чечне, взрослым и детям, боевикам и мирным жителям. Клянусь, ни один чеченец мне не сказал, что Чечня победила Россию. Иногда человек уходил от ответа, загородившись риторическим вопросом: «Что такое Чечня и что такое Россия?» — и давал мне понять, что я задала глупый вопрос. В другой раз человек сокрушенно покачал головой:

— О какой победе может идти речь, если такие потери с обеих сторон?

Так что если в тех сочинениях, о которых я расскажу, вы встретите попытку выяснить, кто кого победил, — это реакция на наш с Хасмагометом разговор.

А еще в сочинениях часто будет появляться «А дальше...». Это первое, что мне пришло в голову в девятых и десятых классах школ Ачхой-Мартана, Самашек и Грозного.

«Дальше — тишина», «дальнейшее — молчание» — эти гамлетовские слова возникли сами собой, когда я увидела один на один детей Чечни после кровавого августа 1996 года.

Мне действительно оставалось только замолчать. Никогда мое учительское слово не находилось в таких жестких тисках, в ограничениях, преступив которые ты сразу оказывался в царстве лжи и пошлости.

Но нигде так скоро не устанавливался и диалог. Они видели меня в первый раз, а обращения ко мне в работах таковы, будто я с ними прожила долгую жизнь: «Вы не представляете себе, Эльвира Николаевна...», «Вот помните, вы сказали...», «Если бы вы видели мою бабушку!..», «Спасибо, что вы приехали», «Спасибо, что вы спросили нас», «Если вы приехали не в последний раз, спасибо!», «Большое спасибо, что дали нам возможность высказать то, что мы чувствуем», «Извините за ошибки», «Простите за грязь» и, наконец, ошеломившее меня:

«Извините. В этой войне я забыла писать правильно».

О ТОМ, ЧЕГО ОНИ НЕ ЗАБЫЛИ¹

Они не забыли не только своих страданий. Прежде всего они не забыли горя своих близких.

«11 декабря 1994 года, когда начались боевые действия, я как раз была в гостях в Гехи. Начали стрелять, бомбить, и я уже думала, что никогда не увижу своих родных. Все уходило в подвалы. Меня упрашивали, но я не соглашалась. Я надеялась, что за мной придет мать.

Мама приехала. Когда мы ехали в машине, нас преследовал самолет. Я плакала, не могла успокоиться. Ранили шофера. Мы потеряли управление.

На праздник пасхи 3 марта я была у дяди в Валерике. Это уже был второй день пасхи. За мной приехала мама. Она была вся в слезах и сказала, что рядом начались боевые действия. Мы должны были уезжать. Кругом стреляли. Когда стояли на перекрестке, за мечетью упала бомба. Сестра упала. Я испугалась. Мама растеряна. Оказалось, она потеряла сознание.

Мы уехали, за нами пришла весть — умер мой двоюродный брат. После этого я подумала, что у меня в груди бьется не сердце, а камень. В тот день я уехала в свое село и никуда не уезжала, потому что смерть для меня была уже не страшна».

К. М. А.

«Началось это 31 декабря 1994 года. Когда мой родственник поехал в Грозный на машине, его сбил танк, он умер на этом же месте.

Когда жители Катыр-Юрта подписали мирный договор, что не будут бомбить это село, в ту же ночь примерно в 12 часов пролетели неопознанные самолеты и разбомбили жилой дом. Разом убили девять человек».

Ахмед Гальмураев

«Это началось 11 декабря 1994 года. Мне очень жаль и российских солдат, и чеченских братьев. У наших братьев не было другого выбора. Я очень хотела бы вернуть и российских солдат, и наших братьев. Я не думаю, что мы победили, а русские не победили нас.

¹ Все детские письма воспроизведены точно так, как они были написаны, без какой бы то ни было правки. (Прим. ред.)

Мне 17 лет. Я учусь в 11-м классе. Извините, если у меня ошибки. В этой войне я забыла правильно писать.

Эльвира Николаевна, спасибо за то, что вы пришли в нашу школу. Надеюсь, что эта встреча — не последняя».

Т. А. М.

«15 марта 1996 года. Когда мы ложились спать, мы даже не думали, что произойдет такое. В 5 часов меня разбудила сестра, сказав, что село окружено. Мы залезли на крышу и смотрели на солдат. У меня внутри все переворачивалось. Страх за семью, за родных не отступал. Потом мы поехали на хутор. Я смотрела на дома своего села и плакала. На хуторе нас было 120 беженцев. В Самашках остался мой отец, брат, родственник. Каждый выстрел мы слышали. Даже автоматный. Эти звуки терзали мне душу. Я своими глазами видела, как 12 вертолетов бомбили наше село. Я не могу вам передать словами, что я чувствовала. Эти звуки и сейчас в моих ушах. Когда я услышала, что моих четверых дядей задержали солдаты, это стало моей трагедией.

Через две недели мы вернулись домой. Где был наш дом, остался мусор. Все дома на нашей улице они сожгли. Лежали газовые трубы, висели электрические провода. Лежали убитые собаки, коровы, овцы.

Но потом в дом моего дедушки внесли убитого моего двоюродного брата. Во время штурма его не смогли вынести из села и закопали в огороде. Мне никогда не доводилось увидеть откопанного человека. То, что я увидела, было ужасно. Другого двоюродного брата убитого нам не показали. Его разнесло на куски. Я никогда не видела своего брата с закрытыми глазами навеки. Его положили на пол. Я совсем не видела, что нам негде жить. Я видела только своего двоюродного брата. Мне 15 лет».

Ровза Магомедова (Самашки)

«26 ноября 1994 года сижу на уроке физики (в 54-й школе Грозного. — Э. Г.). Вроде бы все было нормально. Вдруг стали доноситься сильные звуки, а потом к нашему кабинету подошли директор и завуч. Они сказали, что началась война.

Мы подошли к окну и увидели четыре колонны. Они направлялись в сторону стадиона в сопровождении пяти вертолетов. Наш класс удивился, увидев, как вертолеты стреляли ракетами.

Отец нас увез в Самашки к бабушке. Мы приехали в село, а там все стоят на улице, все плачут. Привезли шесть трупов из села и два трупа маминых родственников.

Что было в Самашках, Эльвира Николаевна, что случилось, вы и сами знаете. Я не знаю, видели ли вы изуродованные, сожженные трупы. Я не знаю: слышали вы о Паршоевых? Они — семья моей матери. У моей мамы шесть братьев и две сестры. Умерли брат, сноха, две их дочери. Еще у моей мамы 21 мая 1995 года задержали брата Паршоева Руслана. Его по сегодняшний день не нашли. Хотя все его ищут.

Вы, Эльвира Николаевна, спросили Седу, была ли она там. Я там тоже была.

Моя бабушка сказала, что не может умереть, пока не увидит своего сына Руслана. И вот через четыре дня приходит сообщение, что сестра бабушки умерла. Она сидела со своей дочкой и внучкой в подвале, а самолеты сбросили глубинную бомбу. Дочку волной выбросило из подвала, а сестра моей бабушки и внучка остались под обломками девятиэтажки. Дочь потеряла рассудок».

Луиза Умалатова

«Последний штурм Грозного 6 августа 1996 года. Я был там с семьей. Когда мы выезжали оттуда на автобусе, над нами кружились четыре вертолета. Мы ехали через лес. Но они не отставали и потом начали стрелять в наш автобус. Тогда мы выбежали из автобуса и разбежались по лесу. В нашем автобусе были потери. Мы там заблудились, и когда мы пришли в себя, оказалось, что моя сестра, ей два года, осталась в автобусе. Я с трудом полез в автобус, а она сидела и плакала сзади в углу. Я схватил ее, вылез и побежал. Но я что хочу сказать: эти летчики видели, что там выходят старики, женщины и дети и что боевиков там не было, но все равно они бомбили. Извините за грязную работу.

...Ярко звезды сияют и мерцают. Люди мечтают видеть мирные сны, а над Грозным нависла с гарью серая мгла. Яростным шквалом бушует война».

Рамазан К.

«26 ноября 1994 года мои родители ездили в Грозный, а у меня на душе было что-то беспокойно. Они вернулись и рассказали, что там происходит: паника, растерянность. Спустя два часа к папе приезжали какие-то люди. Они вышли с отцом и что-то ему рассказали. Выяснилось, что убили моего дядю. Мы перебрались в Бамут. Спустя некоторое время Бамуту предъявили ультиматум — в течение 24 часов покинуть село и сложить оружие... Мы покинули даже республику, но на душе было беспокойно за оставшихся.

Умер дядя. Его сына ранило в руку. У его матери начались сердечные приступы, хотя ей всего 35 лет.

Папа ездил после войны в Бамут. Он говорит, что от нашего дома осталась груда кирпичей. Опять к нам приезжал неизвестный мужчина. Оказалось — убили моего двоюродного брата. Ему было всего 20 лет. Он умер на рассвете лет. Его машину обстреляли, когда он ехал из Слепцовска.

15 марта 1996 года повторяют историю в Самашках».

Солтаева Лаура

*«Чеченцы. Ичкерия. Просто Чечня.
Тебе не забыть этих дней никогда.
Разрушенный город, разграбленный дом,
Бессильный и горестный матери стон.
Тебе не забыть крики этих людей,
Горящие улицы, копот и гарь,
Бесстрашные крики «Аллаху акбар!»*

Резида Татаева

«Мы пришли из своего села без одежды и без ничего. Не оставили в покое моего брата. Его взяли в плен. Его увезли прямо у нас на глазах. Наш отец из-за этого умер. Не перенес всего. Мы пошли с мамой умолять, чтобы вернули брата, но эти скоты выгнали нас и угрожали. Они прямо на наших глазах пристрелили брата!»

Алхаетова Марьям (Бамут)

«...Ощущение сейчас, что я переживаю этот ад. Нам дали три часа, чтобы мы покинули село. Вдруг поднялся шум. Это были самолеты. Мы все бросились в подвал. Мы все молились.

Когда мы вышли, нам сказали, что на окраине убиты люди. Потом моя мама сказала, чтобы я села, — она принесла мне весть: убили мою подружку. В машину попал снаряд. Погибли моя подружка, ее младшая сестра, которой было два месяца, ее двоюродный брат. Это был для меня удар, но оказывается, это были только цветочки. Все было впереди, и я не знаю, как мы все это вынесли».

Малика Мирзоева

«Была ранняя весна. На улице было холодно, стекла у нас выбиты. Дул сильный ветер. Ближе к полуночи начался очередной обстрел. Мы даже не успели уйти в подвал. Папа объяснил: это были навесные мины, от которых ранения бывают обычно в голову. Было такое чувство, что вот-вот мы умрем.

...Моей бабушке 80 лет. Когда ее привезли в Урус-Мартан, спасаясь от бомбежки, мой отец сказал, что его мать второй раз за свою жизнь вынуждена покинуть обжитое место. Он сказал: как я могу это простить? Слышать это от любимого отца было больнее всего. Вспоминаю его слова со слезами.

...Еще один вечер. Я спала. От сильного грохота меня откинуло с кровати. Где-то слышался крик женщины. Она звала на помощь. Оказалось, снаряд залетел в дом и убил всю семью, кроме старшего сына, который успел выбежать на улицу. У меня сжалось сердце при виде этого мальчика, который прибежал в подвал. Будь проклят тот, кто выдумал эту войну!»

Марина Исаева

...Это было в Самашках. В небольшом помещении, продуваемом насквозь осенними ветрами, на сломанных столах и шатких лавках дети войны писали свои сочинения. Один из них, мальчик четырнадцати лет Хусенов Хамзат Халитович, рассказал свою историю, каких в Чечне тысячи. Он родился 3 декабря 1981 года в Казахстане. В местечке Уч-Аром Талдыкурганской области. Он нарисовал на листочке БМП, которая разрушила его дом огнеметом, а рядом вопреки правде нарисовал дом, каким он остался в его памяти. Он протянул мне листок бумаги. Я прочитала то, что он написал. Он спросил меня: «Теперь мы знакомы?» Я сказала: «Да».

Вот это сочинение. Написано красивым почерком. На русском языке. Без ошибок.

«Я, четырнадцатилетний мальчик Хусенов Хамзат Халитович, во время штурма присутствовал в селе и увидел много плохого. Рано утром нас разбудили соседи и сказали, что село окружили. Мы встали. Вышли. Некоторые уезжали. День прошел. На следующий день было то же самое, и в 11 часов начался штурм. Мы сидели в своем доме. К нам в дом попал танковый снаряд, и крыша на нас обвалилась. Мы еле выбрались оттуда и быстро перебежали дорогу, залезли в подвал. Первый день прошел со свистами снарядов. Солдаты искали подвал. Когда мы слышали голоса солдат, волосы дыбом вставали. Они убивали, резали, били прикладами мирных жителей, но это с нами не случилось.

Прошел второй день так же. На третий день перед нашим домом подбили танк. Вечером за разбитым танком приехали солдаты на двух БМП. Зашли в дом, где был наш подвал. Они искали люк подвала

и не нашли. Вышли и стрельнули огнеметом прямо в дом. Дом начал гореть. В подвале были мой отец Халит, мама Хава, сестра Хеда, я и две старушки. Другие перед заездом БМП ушли по своим делам. Тогда все в панике начали просить Бога о помощи.

Наш отец первым вышел из подвала попросить о помощи боевиков. Мы думали, что он спасен, а он горел в доме. Еле как выбежал. Но мы выйти из подвала уже не могли. Отец попросил боевиков, чтобы они стрельнули по бетону подвала гранатометом, чтобы сделать дыру, но у них не получилось, а нас ранило осколками. Мы задыхались в подвале. Нас еле спасли и перевели в другой подвал. Через час нас увезли в санчасть, сделали перевязки. Нам помогали боевики.

На следующий день люди вышли на трассу. Мы пошли в конец села. Мы просили коридор. Нам его не дали. Мы одни сутки переночевали на дороге. Нас бомбили самолетами и танками. Они хотели нас ввести в село и там добить. Но мы не поддались и вышли из села. Тогда встречались родственники, плакали, обнимались, целовались. Моего папу и мою маму увезли в больницу в Ачхой. А меня и мою сестру увезли в город к родственникам.

Во время третьего штурма убили мою двоюродную сестру. 1 января 1995 года потерялся двоюродный брат. Еще не нашелся».

Были и такие, кто не мог вспоминать.

«Вы представляете себе: на улице играет ребенок, и вдруг голова у него разлетается вдребезги. Это российские снайперы. Я видел это здесь, и я не могу об этом вспоминать. Это для меня как будто война началась снова».

Ибрагим Гайсултанов написал на своем листке четыре раза слово «война». В один столбик. Много раз зачеркнул каждое. Внизу написал: «Нам нужен мир». Слово «мир» вырвал из предложения и поместил его в середине новой строки. В структуре его текста оно оказалось странно одиноким и очень хрупким. Что он хотел сказать? Он, чувствующий, что события не просто хранятся в памяти. Они обладают взрывоопасной силой. Нет, война не кончится, пока она будет в памяти.

Драматическое положение русских в Чечне разделили и дети.

«Я считаю, что люди, живущие в Чечне, правы — правы, что ненавидели нас, русских. Если бы мы, русские, с самого начала дали

им свободу, может быть, не было бы войны. Наши солдаты ведут себя отвратительно, убивают мирных жителей, которые в ответ ничего не могут сделать.

...Они правы, что ненавидят нас, русских».

Ольга Кобдикова

Если в 1995 году мысль о криминальном характере войны была у многих взрослых чеченцев, то в 1996-м эта мысль получила дальнейшее развитие в детских умах. Дети видели разоренные села и погибших близких, но мысль-нерв «за что?» заставляла их осмысливать происходящее, не подчиняясь официальной пропаганде.

«Мне кажется, что в каше, которую тут заварили, виновна Чечня и не меньше Россия. Мне кажется, что они заодно. Я не говорю, что все солдаты страшны, как про них рассказывают, но среди них есть те, например спецназ, которые не жалеют не только чеченцев, но и своих младших братьев-солдат. Так же и боевики. Среди них есть те, кто вышел на защиту своей родины, и те, которые прячутся за спины невинных людей и одновременно их грабят. Даже убивают ради денег. Убийцы детей, женщин, стариков.

Если бы я не видела своими глазами все, что происходило, я бы подумала, что люди преувеличивают.

Так вот, каждое утро солдаты проезжали на своих БТРах, в день по семь, восемь раз. Как они пугали людей! А 6 августа ни одного танка не было видно.

Утром 6 августа боевики захватили Октябрьский район (я жила там), заходили в наш двор. Захватили базарчик недалеко от нас. Они говорили, что ни один российский пост их не обстреливал. Им был дан приказ, чтобы они дали коридор боевикам.

Зачем эта война? Я только теперь поняла, кому она на руку.

Вы спросили, победили мы или нет. Даже если победили, сделали хуже себе. Глупость Дудаева, некоторых из Белого дома — вот причина всего.

Что дальше? Дальше глубокая, глубокая бездна, в которую в любой момент может провалиться Чечня, если верхушки России и Чечни не образумятся».

А. М. Л.

«Мы надеемся на всевышнего Аллаха. Надеюсь, что эта война

закончится и мы не станем воевать друг против друга. Мы, дети, надеемся.

Яха Куптаева

«Я не обвиняю российских солдатиков. Даже не обвиняю наших чеченских парней — ведь все они были поставлены друг перед другом с оружием в руках иной, более сильной силой, чем мы».

Лейла Музаева

Все чаще и чаще в сочинениях девяносто шестого года звучит мотив тревоги — как чеченцы воспринимаются остальным миром? В 1995 году остальной мир отделялся стеной вражды, поскольку все спокойно справляли Новый год, пили шампанское, а в Чечне погибали люди. Жестокая обида на мир, который не восстал против войны, билась тогда в каждой детской строчке. Через год возник новый мотив — **мы и другие**. Желание изменить у других представление о себе как о террористах и убийцах.

«Раньше я и моя семья жили в Волгограде. Мы жили там 14 лет и работали. Нас любили и мы любили. Но теперь не любят чеченцев, и мы не любим. У меня было много друзей в Волгограде, но теперь они, наверное, забыли обо мне».

Лейла М.

«Эльвира Николаевна, мне вот очень интересно, верили ли вы этой чепухе, которую городили по телевизору о нас?»

...На тот вопрос, что вы задали, ответа нет. Никто не победил. Все понесли большие потери, и мы, и вы. Большое спасибо вам за ваше внимание».

Лейла Музаева

Поздно вечером Лейла принесла мне целую тетрадь прекрасных стихов. О войне, жизни, своей Родине.

Так вот: как бы ни сложились отношения Чечни и России, что бы ни произошло, какие бы телевизионные сообщения ни взрывали тишину, мое отношение к Чечне и ее народу отныне не зависит ни от политики Бориса Ельцина, ни от речей Мовлады Удугова. Мое отношение к чеченскому народу, впитанное с детства с каждой буквой «Хаджи-Мурата» великого Толстого, перестало быть абстрактным и книжным. Оно выросло из дове-

рительного общения со взрослыми людьми Самашек и Орехова, Бамута и Ачхой-Мартана, Грозного и поселка Давыденко, из горьких и скорбных событий, которые я пережила вместе с этими людьми на месте их горя. Но более всего **образом Чечни и ее народа я обязана чеченским детям**. Большим и маленьким. Им, кто впустил меня в тайну своих недетских страданий, им, кто протянул мне руку дружбы, кто ведает, что есть на свете сила сильнее нас, но это ровным счетом ничего не значит, кто рад собеседнику и другу в самый скорбный свой час, — вот им, детям, я обязана своей вечной любовью к Чечне...

НАКАНУНЕ

ДАГЕСТАН — 1998

Он постоянно на слуху в последнее время — Дагестан. Ему прочат судьбу Чечни. Аналитики не скрывают, что сегодняшняя ситуация в Дагестане напоминает предвоенную в Чечне. И еще: с Дагестана начнется процесс отторжения Северного Кавказа от России. Это тоже официальная версия.

Поэтому первый вопрос дагестанцу — о Чечне. Дагестанцу, который торгует и водит машину, ловит рыбу и сидит без работы, служит в милиции и пишет стихи, лечит детей и растит смену. Мы так ни разу с майором Измайловым (с которым я путешествовала) не вошли ни в один высокий кабинет. На улицах люди охотно вступают в разговор. Никто не боится высказать суждения вслух. За беседу благодарят. Характерная фраза: «Спасибо за взаимный разговор». Это значит — ты был выслушан и понят. Разговоры трудными были не для дагестанцев, а для нас с Измайловым.

Подумать только, как я, казавшаяся себе свободной и независимой, насквозь пронизана оппозициями: «наш — не наш», «свой — чужой», «прав — не прав», «черное — белое», «левый — правый».

Первым нас ошарашил друг Измайлова. Подполковник милиции Камиль.

— Все нормально. Мы их не боимся. Мы их хорошо знаем. И они — нас... Они знают: если что, мы им ответим тем же... Я вижу, вас удивляет мое отношение к соседу и брату.

Вот они, ключевые слова: сосед и брат. Это дает право на жесткие определения без всякой снисходительности. Последняя может стоять жизни. При этом — никакой истерики и шапкозакидательства. Никаких угроз.

Сосед, какой бы он ни был, есть реальность, с которой надо считаться. Нам рассказывали кизлярские милиционеры, что ко-

мандированные из разных мест России их коллеги после дежурства сидят дома взаперти. Не выходят на улицу. Боятся то ли чеченцев, то ли местного населения.

Кизлярские стражи порядка полагают, что вполне справились бы с функцией охраны сами, будь другая экипировка и финансовые возможности.

...Взяли дагестанцев в заложники. Одному удалось бежать. Сообщил кизлярской милиции. Классный был рейд. Настигли банду с заложниками. Крикнули на аварском языке: «Ложись!». Бандиты остались стоять. Они не знали языка. Их порешили.

...Мы считали вопрос о 21 мая тестовым. Это день, когда группа людей Надира Хачилаева, депутата Госдумы, захватила здание махачкалинского Госсовета. Чуть раньше этого события были убиты пять милиционеров, осмелившихся задержать кортеж машин депутата. Перво-наперво дагестанец снимает пафосность вопроса своим вопросом:

— А что такого особенного произошло 21 мая?.. Ну и что? Одна мафия пришла к другой и сказала: «У тебя есть много, дай мне». Обычная кланово-мафиозная разборка.

Все хотела найти противников и сторонников Надира Хачилаева. Каждый раз, когда я готова была уже занести своего собеседника в заготовленную рубрику, он выдавал неожиданное суждение, которое вносило разлад в уже сказанное.

...Гусейн. Учитель русского языка и литературы. Лакец. Немолод. В истории российско-кавказских отношений — как дома. Это он спросил нас, как мы относимся к Шамилю.

— В мировой истории он признан как лидер национально-освободительного движения, — с усердием отличницы отработала я.

— Это правда. Но правда и то, что люди страдали не только от царских наместников, но и от шамилевских наивов. Вам известна цифра потерь в этой войне? А вы знаете отношение Шамиля к войне в конце жизни?

Я смолкаю. Мне непривычен этот плавный переход от плюса к минусу и обратно. Больше, на что я способна — на борьбу противоречий. А противоречий может и не быть.

Гусейн плохо относится к поступку Хачилаева. Потрясен смертью милиционеров. Недоумевает, почему дело не получило хода. И вдруг:

— Знаете, я долго думал, почему Магомедов не раскрыл эту историю. Одна мафия покрыла другую? Но почему-то мне

кажется, что он сделал все, чтобы предотвратить гражданскую войну. Она была возможна.

— Значит, влияние Хачилаева закончилось после этой истории?

— Нет, почему! Убитые есть убитые. Их никто никогда не забудет. Но Хачилаев — личность. Влияние, конечно, не то. Он — личность, — повторил Гусейн, увидев, как я уже занесла знак минус над головой депутата Госдумы.

Мне понадобится съесть свой пуд соли. Мне понадобятся круглосуточные беседы с людьми (с вычетом на краткий сон). Мне понадобится сломать в себе клише и штампы, чтобы понять тип мышления, организованный по принципу дополнительности.

Не Хачилаев или милиционеры, не «чеченец-разбойник, угнавший скот» или «чеченец-сосед», а «чеченец-разбойник и чеченец-сосед», «Хачилаев и милиционеры».

Вот почему оценка российскими СМИ ситуации 21 мая кажется дагестанцу грубой и пошлой, как грубой и пошлой кажется оценка ситуации в Дагестане в целом.

— Каково видеть Степашина по телевизору! Сидит рядом с Хачилаевым, похлопывая его по плечу, и дурацки комментирует: «Он имеет влияние... Он больше не будет». А ты посади милиционеров или матерей убитых. Пятерых не спрячешь ни за какое влияние. Взвесь все, если умешь...

* * *

Как меняется отношение к событию, когда видишь реального человека. В одном доме нам показали кассету. Среди гостей, отмечавших день рождения, был молодой милиционер, погибший 21 мая. Он сидел за столом в спортивной шапочке. Над ним подтрунивали: сними да сними... «Некрасиво будет», — сказал милиционер, не желая показывать стриженую голову.

Пленка возвращается еще раз и еще раз. Я слышу голос: «Некрасиво...» — и сердце мое заходится от одного сознания, что ни этих глаз, ни этих рук, ни этого голоса давно в природе нет.

Убиты пятеро.

* * *

Каждый дагестанец отлично помнит фразу чеченского представителя на инаугурации Магомедова. Смысл такой: не годится на развалинах соседа строить счастливую жизнь с Россией.

Лихая фраза, ничего не скажешь.
Но дагестанцев она не смутила.
Комментарий дагестанской поэтессы:
— Это он сказал для своих. Мы понимаем, без этой фразы он не мог вернуться в Чечню.
Вот она, рефлексия думающего народа.
Через два дня я уже точно знала, что Хаджи-Мурат, который начал думать, живет в Дагестане.
В Дагестане живет думающий народ.

* * *

Мне хотелось узнать, откуда этот инстинкт на истину. Инстинкт на здравый смысл. Чутье на баланс сил. Однажды я услышала ясный и четкий ответ. Говорил командир погранотряда в Дербенте. Русский человек.

— А это от культуры народа. Она очень высокая. Мы этого, к сожалению, не знаем. Дагестан — древнейшая цивилизация. Уникальный опыт векового соседства сотен народов. Сосуществование с другими нациями и народами — разве это не культура?

...Я понял это сразу, когда сюда приехал. Что такое дагестанский двор? Десятки народов. Если поймешь, что ты, русский, один из них, с тобой ничего не случится. Я вот сейчас с вами разговариваю, а мои дети во дворе. И я не хочу бояться.

МУРАД, СЫН КАМИЛЯ

Мы спрашиваем об опасности исламизации и возможности отделения Дагестана от России.

— Как ты думаешь, она наденет паранджу? — спрашивает старый аварец-шофер. — Она в гроб ляжет скорее.

Он показывает на женщину средних лет, пересекающую дорогу. Роскошные волосы до плеч. Платье с короткими рукавами.

— У нас уже была исламизация, — сказал другой.

— ?

— Ну ведь жили несколько десятков лет, как партия велела. Хватит.

Никто в обозримом будущем не мыслит себя без России.

Наступил день, когда мне стало стыдно задавать вопросы об опасностях, исходящих из Дагестана.

...В тот вечер шестнадцатилетний Мурад, сын нашего друга

Камиля, рассказывал, как уходил из турецкой школы, в которой проучился два года.

— Я сам сказал отцу, что буду уходить. Ну, хорошо, английский я выучил. Но в целом образование показалось мне слабее российского. Я сопоставлял программы, отдельные темы, знания по предметам. Все не в их пользу. Было много других неудобств — психологических. Ну, например, есть предмет «история». Но почему это история чужой страны? А где история моей Родины? Где я живу? Не выдержал. Ушел.

Дагестанец относится к образованию как к основе человеческого достоинства. Горе, если оно станет недоступно.

...Смотрим программы российского телевидения. По первой — пьяные солдаты клянутся в любви к воздушно-десантным войскам. Убогие и расхристанные. Так видится отсюда.

По второй — кадры марширующих фашистских молодчиков. Камера схватила характерный фашистский жест и зубодробительный взгляд русского молодца, готового уничтожить всякого, кто не русский.

Неужели все, что мы сейчас видим, тоже страницы истории нашей Родины? Нашей общей с Мурадом Родины?

Так стану ли я спрашивать об опасности ваххабитов? Стану ли спрашивать о намерениях Дагестана вечно жить с Россией?

Если что-то еще и вызывает у меня удивление, так это терпение дагестанцев.

Я спрашивала, в каких акциях федерального масштаба нуждается Дагестан.

— Я бы тебе сказал, — ответил кумык. — Если бы был уверен, что все будет как надо. Если равновесие нарушится, взорвется весь Кавказ.

Понимает ли это Кремль?

...В те дни Дагестан жил началом операции «Путина». Бродили слухи, что она может ударить по безработному дагестанцу, живущему рыбой, а икорные дельцы, как всегда, уйдут от надзора. Пограничники, с которыми встречались мы, внушают доверие. Впрочем, как знать...

* * *

Поздней ночью Камиль, отец Мурада, заполняет анкету, состоящую из семнадцати вопросов. Социологическая анкета о причинах социальных и межнациональных конфликтов. Пу-

щена в оборот в июне 1998 года. На вопрос: «Может ли правительство при проведении экономических реформ рассчитывать на терпение народа?» — Камиль выбрал вариант: «Нет, не может». Потом подумал и добавил вслух: «Уже не может».

ТУЖУТДИН — ОЗНАЧАЕТ «ИЗБРАННЫЙ»

Терпением и спокойствием поразил нас Тужутдин. Он во-
дил нас по знаменитой Дербентской крепости, хранящей мате-
риальные знаки древнейшей и высочайшей культуры Дагеста-
на. Он знал про Дагестан все. Единственное, чего он никак не
мог понять: зачем генералу Ермолову нужно было разрушать
южную стену города, когда Дагестан уже принадлежал России?
Утонченное мышление историка-исследователя.

Он показал нам город с самой высокой точки крепости и
при этом заметил:

— Видите, у города стены. Там, внутри, творилась история. За
стенами города только хоронили. Я знаю, те, кто перешел границы
древнего города, будущего не имеют. Их будущее — кладбище.

Он показал рукой в сторону «золотого треугольника». Так
называется место, где строят хоромы сегодняшние богачи. Дер-
зкая, вызывающая архитектура. Демонстрация богатства. У этих
домов есть кодовое название: «наши кредиты».

У Тужутдина двое детей. Зарплата 180 рублей. Отец Тужут-
дина всю жизнь трудился над восстановлением крепости. Брат —
художник.

Он открыл нам массивную дверь гауптвахты, построенной
Ермоловым для офицеров. Налил из термоса в стакан крепкого
чая. Достал сахар.

Мы узнали, что Тужутдин по профессии арматурщик.

— А откуда такое знание мировой истории?

— Это очень просто. Все из книг. Книги надо читать.

ПЕРЕВОД С ТЛЯДАЛЬСКОГО

— Дагестан бы уже давно взорвался, если бы был мононаци-
ональным, — сказал старый даргинец, подвозивший нас к
кладбищу. — Ты должен с рождения учитывать интересы соседа, на
каком бы языке он ни говорил. Обратите внимание, как водят
машину в Дагестане. Никаких дорожных правил не соблюдают! А
дорожные происшествия минимальны. Почему? Тот, кто нарушает

правила, учитывает другого, который тоже нарушает правила. Весь секрет здесь...

— А как вы различаете друг друга, если, допустим, не знаете языка?

— По акценту русского языка, — сказал даргинец.

Не это ли имел в виду наш великий Бродский, когда говорил о культурном значении «имперского» языка?

...Два дня я слышала речи на языке, на котором говорит... одно село.

А было это в поселке Караузек («черная дыра» по-кумыкски). Здесь все говорят по-тлядальски. Узнать, сколько людей в мире говорят на этом языке, трудно. Это директор школы Джемал сказал мне:

— Наше село говорит по-тлядальски. Этого мало?

— Ну а зачем тебе язык, на котором говорит так мало людей? — спрашиваю Иру, будущую учительницу начальных классов.

Господи! Какая же я дура! Ира говорит и по-русски, и по-аварски, и по-английски.

С ответом Ира, дочь нашего друга Камиля, не медлит.

— Чтобы отличаться от других. Чтобы сохранить свое собственное. В языке много чего записано. Я уверена, мы бы иначе относились к старшим, к маленьким, если бы не язык.

Она произносит поговорку по-тлядальски. Пытается перевести на русский. Я тут же предъявляю адекват: «Дурная голова ногам покоя не дает».

— Нет, — сокрушается Ира, — это совсем другое. Понимаете, это что-то вроде «Если у тебя плохая голова, ты можешь сколько угодно крутиться на ногах — ничего в жизни не выйдет». И все равно на нашем языке есть в этом другой смысл.

Лицо Иры меняется, когда она говорит на языке предков. Еще раз произносит фразу по-тлядальски.

Мне не дано почувствовать новые смыслы. Но теперь я точно знаю, что они есть.

Потом в Махачкале отец Иры покажет мне один из томов книг, которые издавались с соизволения Его императорского высочества главнокомандующего Кавказской армией при кавказском горском управлении.

Впервые я увидела эти книги в Северной Осетии. Я жила в доме своих осетинских друзей, когда эхо трехдневной войны с ингушами было еще гулким. Хозяин дома Ахсарбек, учитель,

работал в Пригородном районе, где развернулись бои. Он чудом избежал смерти. Спасением обязан одному ингушу. В доме Ахсарбека мне и подарили несколько томов о горцах. Это сборники сведений о кавказских горцах. Их обычаях, нравах. Особенностях языка.

С немалым удивлением обнаружила, что существовал пере-чень изданий на горских языках. Эти издания печатались в типографии окружного штаба. Но самое замечательное — военное ведомство располагало средствами распространять грамотность в среде горского населения на его же родных языках (распоряжения военного ведомства, которые «клонились к распространению грамотности», — какое изящество выражения!).

Даже в страшном сне нельзя помыслить, чтобы шефами такой работы могли стать генералы Грачев, Куликов, Шаманов...

Так вот: подполковник милиции наш друг Камиль показывает том, в котором наравне с другими горскими народами рассказано о тлядальском. «Мы не хотим исчезнуть», — сказала дочь Камиля. Дореволюционное издание военного ведомства хранит память о народе.

...На днях в «Московском комсомольце» прочла статью «Ногайское счастье». Сердце екнуло: неужто благородные традиции возвращаются? Кульминация статьи — рассказ про ногайку, которая делается из бараньего мужского полового органа... Спасибо за встречу с ногайским народом. А еще зачем-то нам нужен Северный Кавказ.

Дикий мы все-таки народ. Дикий.

* * *

Глубокой ночью идем по селу, которое говорит по-тлядальски. Возвращаюсь из школы, где директорствует молодой человек Джемал. Историк по образованию. По складу ума философ.

Узнала, что школа находится на землях отгонного скотоводства. Питание детей в школе-интернате давно не финансируется.

Из 28 учителей 22 — мужчины. Зарплата молодого учителя 280 рублей.

По ту сторону Кавказского хребта живут братья тлядальцев. «Два дня, и ты будешь в Грузии». Буду обязательно!

...А в самом деле, можно пешком пройти в Грузию. Прийти в Чантис-Кури, что в Кварельском районе, и спросить, почему закрыли родную школу.

— Родная — это аварская? — спрашиваю я.

— Нет, русская, — отвечает Джемал. — Русская для нас тоже родная. Язык аварский мы все равно сохраним.

А еще хочу спросить, почему десятки семей, веками жившие на грузинской земле, должны теперь горе мыкать вдали от могил своих предков? Рядом с Караузекком беглецы из Грузии делают попытки построить новый дом.

* * *

На одиноких столбах слабо мерцает свет. Он не может пробить толщу ночи.

Я делаю неверный шаг и натываюсь на спящую отару. В темноте различаю избушку на курьих ножках.

— Там пастухи спят, — упреждают меня. Мне не верится. Упрямо лезу к дощатому скворечнику. Вот одеяло, вот подобие подушки. Кружка для питья аккуратно перевернута. Хозяина нет. Скоро придет. Отара чуть вздрагивает — овцы дышат.

И таким покоем повеяло от всей этой ночной картины, словно никогда на свете не было ни войн, ни вражды. А были пастухи, и эти мирные стада, и это небо, и эти звезды.

Ты прав, командир пограничного отряда: культура народа — это прежде всего уклад жизни. Прав мой любимый Толстой, утверждавший, что частные интересы людей и есть подлинная история.

Кто-то из провожатых жестом устремляет нас в ту даль, которая нам невидима. Мы знаем: с той стороны возможен набег. Мне становится страшно. А стада мирно спят.

КНИГА ИМЕН

Наутро я увидела мальчика лет семи. Вместо приветствия он произнес:

— Шамиль Гаджиевич Хетуров,

Гаджи Магомедович Хетуров.

Произнес как стихи. Как одно ритмическое предложение. Мальчик оказался сыном Гаджи Магомедовича Хетурова, чей портрет я видела накануне перед входом в школу. Лейтенант СОБРа «погиб в борьбе за честь и достоинство народов Дагестана». Об этом сообщала надпись под портретом. Гаджи было 25 лет. Он должен был ехать на учебу в Тверскую область, но получил приказ идти в Первомайск. Белокурая, с синими глазами Аминат — жена Гаджи. Она ездила на место гибели мужа. Считает, что это было чистой воды убийство с нашей стороны.

Высококласных собровцев отправили на войсковую операцию, которая не была подготовлена. Выстрелы в голову и плечо оборвали жизнь сына, мужа, отца и зятя.

— Когда его привезли мертвым, я поразилась, какой он большой. И так-то рост метр восемьдесят шесть. А тут будто вырос перед смертью. Его положили на матрас. Ноги не уместались. Принесли другой. Не знаю, как это возможно, чтобы человек был еще красивее, чем в жизни. Своими руками нащупала раны. Их было две.

— Ну и какое у вас отношение к чеченцам? — почему-то спросила я.

— Раньше их очень жалела. Как пожалела бы любой народ, на который падают бомбы. Сразу после гибели мужа возникла ненависть. Даже испугалась. А теперь — ничего нет. Ни любви, ни ненависти. Аллах им судья...

А все-таки стравливаем мы народы, прости нас, Господи!

В разгар войны мне рассказывала русская учительница из грозненской школы № 46, что главная ее печаль — это сын, который в армии. «Представляешь, если его пришлют сюда! Против кого он будет воевать? В кого стрелять? В товарищей по двору?..»

...Не знала Аминат, как сказать сыну о смерти отца. Между ними была особенная связь. Друг друга чувствовали на расстоянии. Но однажды Шамиль, которому шел шестой год, сказал, что он знает, где его отец.

— Он стал ангелом. Папа ушел на небо. Когда я стану старым, мы с ним встретимся.

Шамиль рассказывает историю своих недетских размышлений. Он много раз смотрел мультик «Король Лев». Есть там эпизод, когда маленький львенок, потерявший отца, вглядывается в отражение на воде и не сразу понимает, что это отражение его отца, который на небе. Львенок понял, что звезды, которые светят нам с неба, — это ушедшие из жизни короли. Маленький Шамиль пропускает все про королей. Он говорит про своего отца.

Однажды он дождался настоящей звездной ночи. И увидел своего отца.

Я загорелась посмотреть этот мультик. Знала, что не уеду из Дагестана, пока не пойму, как Шамиль, сын лейтенанта Гаджи Хетурова, мыслит, глядя на экран и в свое сердце одновременно. Нашему соседу по дагестанскому жилью семь лет. Это русский мальчик Дима. Тоже без отца. Я рассказала ему про Шамиля. Он обещал за ночь найти у своих друзей кассету.

В день нашего отъезда мы с Димой смотрели этот мультик (не очень стоящий, кстати. И дурно озвученный). Дима все объяснил мне про аварского мальчика Шамиля. Уже надо было отъезжать, Измайлов извелся. Дедушка Димы с испугом спрашивает меня, уставившуюся в экран: «Вы так же, как внук, не можете жить без мультиков?»

— Тепер вы поняли, что некоторые люди после смерти превращаются в звезды? — спросил Дима. Вопросом этим он вернул меня к одному из самых сильных потрясений, испытанных мной в Нагорном Карабахе, когда поздним вечером, возвращаясь к друзьям, высоко в небе, почти на уровне звезд, увидела странную книгу имен: «Хачик — 18 лет», «Славик — 21 год», «Гурен — 19 лет»...

Есть звезда Гаджи. Пройдет много лет — появится звезда Шамиля. Они будут гореть рядом. Это единственное, чем может ответить детское сознание на чудовищное преступление, совершенное властями перед ребенком.

ДЕДУШКА И БАБУШКА ДИМЫ

Мы с Измайловым увидели Полину Дмитриевну в первый день своего приезда. Встретились у лифта, который, конечно, не работал.

От нее исходил свет. Она лучилась. Но свет сразу погас в ее очах, когда началась постсоветская сага о судьбе русских. Пенсия Полины Дмитриевны 234 рубля. Уехать бы надо, а куда? Кто ждет? Квартиру продадут за бесценок, а дальше что?

— Знаете, что мы поняли за эти годы? У русских не оказалось родины. Любой аварец, даргинец в случае неудачи может надеяться на свой род. Еврей знает, что Израиль его примет. Немца всегда вспомнит его земля. А русский? Когда были события 21 мая, все во дворе рассказывали, сколько кому было звонков. Нам не позвонил никто. Видимо, боятся, что мы можем неожиданно свалиться на чью-то голову. Может быть, мы уже не страна?..

Но больше всего Полину Дмитриевну беспокоит состояние мужа. («Смотреть на него сил нет никаких».) Юнгой тралил мины. Плавал на утлых деревяшках, чтобы не подорваться. С 1943-го по 1950 год служил на границах с Ираном и Турцией. Опасная была служба. Вырезали целые заставы. Военной пенсии Тарасов Евгений Константинович не получает. Не в тех войсках служил. Неясно, почему в книге нет записи о том, что он плавал юнгой на минном тральщике. Свидетелей тех лет уже нет в

живых. 370 рублей — это пенсия человека, молодость которого прошла на войне. Не на той войне, как оказалось.

...Зашла попрощаться с Полиной Дмитриевной. Было раннее утро. Еще далеко до полдневного дагестанского жара. Дышится легко. С одиннадцатого этажа, на котором живет семья Полины, виден весь город. Гора Таркитау плавно переходит в небо. Границы земного и небесного как будто не существует. Заплакав горячими слезами, Полина Дмитриевна произносит напоследок:

— Куда же я отсюда? Куда я без своих дагестанцев?

АПТЕКАРЬ

Жара нестерпимая. Ищу тень. Жду Измайлова, ведущего переговоры с военными. Молодой человек с улицы крикнул: «Заходите в аптеку! Там есть стул. Отдохните».

Потом он сам вошел в аптеку. Оказался ее хозяином. Два с лишним часа я провела в разговорах с врачом, получившим в тот день радостное известие — его приняли в ординатуру.

Аптека частная. Заикнулась о каком-то лекарстве, и Шамиль (так зовут врача) стал записывать в книгу то, чего у него под рукой не случилось. Рассказал о трудностях частного предпринимательства. Узнала, кому сколько Шамиль должен дать, чтобы иметь свое дело и помогать людям. Это настоящий бич.

Нет, не нравится молодому врачу новая жизнь. Он не за коммунистов, упаси Аллах! Но ведь способности сопоставлять явления жизни у него никто не отнимал и отнять не может.

— Раньше достаточно было знаний и желания учиться. Сейчас — достаточно только денег. Как же так? Пусть они живут в своих хоромах и отдыхают на Гавайях. Я ничего не имею против. Пусть они оставят нам образование. Неужели в основу дружбы могут лечь деньги?

Он еще ни разу не выезжал из Дагестана. Хочет прежде всего увидеть свою столицу. Побывавшие там молодые люди в красках описали Шамилю, как их шмонают, как оскорбляют, как останавливают на улице, потому что «рылом не вышел».

— Мы Россия, когда у нас сплошная безработица. Мы Россия, когда у нас самая низкая заработная плата. Мы Россия, когда на нас валятся все беды южной границы. Но мы никто, когда попадаем в столицу.

Впрочем, друзья уже применили к Шамилю «лужковский принцип» определения национальности. Шамиль может быть спокоен. За лицо кавказской национальности его не примут.

...Измайлова он узнал сразу и заволновался. Искал, что подарить. Шамиль огорчился, узнав, что у нас нет времени на Гуниб и Хунзак. Места, связанные с Шамилем и Хаджи-Муратом. Он оставил свой адрес, надеясь на встречу.

..Я люблю возвращаться к одним и тем же людям в «горячих точках», чего бы мне это ни стоило.

— Ты думала о нас весь год? — спросили сестры Умаровы из Самашек, когда я перешагнула порог их разгромленного дома после третьего штурма села. Этот вопрос сразу отделяет журналистское любопытство от подлинной человеческой приязни. Тыходишь в круг семьи.ходишь надолго.

...На рабочем месте Шамиля лежат две книги — «Избранное» Лермонтова и «Овод» Войнич. Лермонтовский текст раскрыт. Шамиль пересказал мне «Овода» так, будто он единственный на свете прочитал эту книгу. Уловив интонацию пересказа, я спросила:

— Готовишься к борьбе?

Он ответил не сразу:

— Знаете, против кого я буду воевать? Против того, кто начнет войну. Войны быть не должно.

У Лермонтова он тщательно выискивал строки о родном Дагестане. Передал мне книгу, и я сразу нашла гениальный лермонтовский «Сон». Вспомнила, при каких обстоятельствах его читала последний раз со своими учениками.

...В заложники взяли новосибирских милиционеров. Мы долго думали в классе, чем можем помочь. Послали телеграмму Масхадову и во «Взгляд»:

«Предлагаем обменять новосибирских милиционеров на наши сочинения по “Хаджи-Мурату”».

Никто не откликнулся. Сочли за бред? Но я и сейчас считаю, что отношение к войне на Кавказе, с которой выросли мои ученики, — величайший капитал в мире. В нем наше человеческое достоинство. Наша независимость от власти и корысти. Наша самость.

Так вот: в аптеке я и Шамиль. Запах лекарств, усиленный зном. Кто-то входит за лекарством и приостанавливает свой шаг. Никто меня не перебивает. Читаю, будто первый раз в жизни.

«В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я...»

Дохожу до последней строчки. Выдержав паузу, Шамиль начинает снова:

«В полдневный жар в долине Дагестана...»

ЗАЛОЖНИКИ

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ. БЕЗ ВЕСТИ ЖИВУЩИЕ

Мы встретились с Риммой Петровной Перепелкиной как родные. Случилось это в Нальчике. На конференции по заложничеству. Наша первая встреча была в Чечне.

Римма родила сына поздно. В сорок три. Он учился на физико-математическом факультете университета. Решил перейти на другой факультет. А тут звонок из военкомата. В армию мог не идти. Решение принимал самостоятельно. У отца Владимира в семье были военные. Он сохранил прежние представления о воинском долге и ничего плохого в поступке сына не увидел.

Римма Петровна решение своих мужчин поддержала.

Сына отправили в Чечню.

...Они шли колонной в районе знаменитой Минутки. Их машину подбили. Выскочили двое. Владимир и его друг Сергей Мельников. Остальные машины проехали мимо. Видно, решили, что ребят убили.

Римма, как все солдатские матери, восстановила шаг за шагом пребывание сына на войне. Последний раз в Чечне была в феврале этого года.

— Не боялась?

— А что может быть страшнее смерти сына? Моя собственная шкура мне не нужна. Все остальное сын унес с собой.

В Урус-Мартане она попала на собрание ваххабитов. Встала с фотографией сына. Прошла по рядам. Шла и вглядывалась в лицо каждого чеченца, надеясь на чудо. Обещали помочь.

— Раньше мы с мужем лежали и дрожали от холода. Все никак изнутри согреться не могли. Теперь я обрела странное спокойствие. Мне кажется, я его найду.

Дочь Риммы старше брата. Однажды ей привезли в подарок розы с юга. Она обратилась к цветам:

— Дорогие розы! Вы из тех краев, где был мой брат. Расскажите мне о нем.

Через десять минут — уснула. Она увидела брата. И закричала: «Я тебя никуда не пущу. Поведу тебя к маме». А он говорит: «Это не я пришел. Это пришло мое физическое тело. Моего духа здесь нет. Я не могу остаться».

— Как ты думаешь, что означало это видение? Он жив? — спрашивает меня Римма.

Что я могу ей сказать?

...Но однажды я нашла что сказать жене, которая разыскивает своего мужа уже пять лет.

Заринэ Акопян из Капана. Приехала в Нальчик, движимая одним желанием: получить весть о муже. Двое детей у Заринэ. Сын и дочь. Денис и Марина. Денно и ночью ждет Заринэ своего мужа. «Разве он не достоин того, чтобы я его ждала всю жизнь?»

Однажды подруга Заринэ сказала, что ей попало в руки стихотворение, суть которого очень похожа на то, что переживает Заринэ. Но вот беда: конца у стихотворения нет. Листок оборван. Заринэ прочитала начало и поняла, что ее состояние совпадает с настроением этого стихотворения.

Стихи были на русском. С тех пор они всегда с Заринэ. Вот они:
Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди.

Для Заринэ это молитва. Это мольба.

— Ты не знаешь это стихотворение? Чем там все кончилось? Она его дождалась? Мне это так важно знать...

Я сказала: она дождалась. Читаю стихи. Заринэ замечает: «Я мысленно надеялась на такой конец».

Но чаще всего бывает так, что надежда нас оставляет. И связано это с другой войной. О ней наше общество молчит. Молчит и главнокомандующий.

НАРОД – СИРОТА

«Здравствуйте, мои дорогие Таня и дети Ирина, Наташа и Сережа!

Пишу вам, наверное, последний раз, так как сил больше нет выносить этот беспредел, который длится восемь месяцев.

Держусь из последних сил. Я прошу тебя использовать все возможности по освобождению меня из плена. Судьба остальных мне не известна.

Это последняя возможность написать тебе письмо. Если до 5 июля 1999 года не решится вопрос, со мной неизвестно что будет. До свидания. Целую всех крепко.

Михаил Бреннер

25.01.99».

Это письмо получила Таня. Жена Бреннера. Жизнь Тани и ее детей круто изменилась с октября 1998 года, когда похитили мужа и отца. Вот тогда все в семье поняли, что они никто. Нет у них ни государства, ни Отечества.

— Нет денег, не будем с тобой разговаривать, — сказали те, кто по долгу службы должен был денно и ночью искать пропавшего человека.

На прием к президенту или премьеру не записывают, потому что в бюрократическом реестре нет раздела «Похищение людей». Неважно, что людей похищают каждый день. «В Чечню вывезли, там и ищите», «Он у вас в Ингушетии работал, там и требуйте» — такова обойма отговорок государственных людей.

Пропал человек. Семья остается с горем один на один. Те, кто похищает, усвоили это отлично. Они знают, что можно послать кассету жене, матери, детям заложника. Видеокассета — акт устрашения. Как это и случилось с Таней.

Так вот: похитители «правы» в своем беспределе, ибо знают, что в нашем разлюбленном отечестве человеческая жизнь ценностью не является.

Мы продолжаем с упорством, достойным лучшего применения, доказывать всему миру (и бандитам в том числе), что каждый конкретный человек в нашем государстве не имеет никаких прав. И права на жизнь тоже. Бесправие пустынножительства, как сказал бы Андрей Платонов. Круглое сиротство — вот что больше всего потрясает тех, кто вступает в борьбу за жизнь сына, брата, мужа, отца. Человек — как сирота.

НАРОД КАК СИРОТА

Галина и Анатолий Мирановы — из Моздока. Приехали в Нальчик, чтобы встретиться с Измайловым. Их сын Эдуард похищен 1 октября 1998 года.

...Уже первый час ночи. Я тороплю Измайлова. Он не уходит. Он знает: пока родители Эдика с ним, им кажется, что сын вернется.

— Мы никому не нужны со своей бедой, — говорит отец пропавшего сына.

— Оказалось, мы совсем одни в своем горе, — как эхо повторяет жена Галина.

Помимо прямой розыскной работы у Измайлова есть еще одна функция — он восстанавливает в отце и матери утраченное чувство человеческого достоинства. Чувство, распытое государством.

Поначалу человек никак не может понять: почему после исчезновения сына (отца) не перекрываются дороги? Почему потеря человека не вызывает сигнала бедствия? Почему, почему, почему...

Галина на следующий день сама обнаружила на берегу Терека брошенную машину сына. Нашла окровавленную рубашку. Обнаружила именно его, сына, следы на песке и никак не могла понять, почему только ее волнуют вещественные доказательства похищения.

...Проходят дни, недели, месяцы, и наконец человек остается с единственной правдой: ни он, ни его дитя никому не нужны.

Как будто все это и раньше знал, но знание было абстрактно. Боли оно не вызывало. А вот похитили сына — и через сердечную боль прозревают очи. Тут же вопрос: в каком государстве я живу?

Так что же с нами произошло?

Со всеми, кто втянут в неоконченную войну с Чечней? Какими бы страшными ни казались формы заложничества, все они порождены нашим государством.

...Галине Мирановой позвонила молодая женщина. Рыдала в трубку. Рассказывала ледящую душу историю похищения своего сына. Мальчику отбили почки, бросили в подвал, потом туда же бросили еще одного избитого парня. Им оказался сын Галины Эдуард. При освобождении мальчик по просьбе Эдуарда запомнил телефон его матери... Звонившая просила 15 тысяч долларов на лечение ребенка. Взамен предлагала информацию о местонахождении сына.

Мирановы уже отдали официальным лицам Моздока около 200 тысяч новыми.

Звонки продолжались две недели. Женщина, назвавшаяся Милой, пустилась во все тяжкие: упрекала Галину в черствости, нелюбви к сыну. Теперь она согласна была на 8 тысяч долларов. Сошлись на четырех. Деньги надо было передать продавцу мороженого у почтамта, а дома в почтовом ящике Галина должна была обнаружить листок с информацией. Мать Эдуарда передала деньги, но, вернувшись домой, листка не обнаружила. Тут же поспешила, чтобы вернуть деньги.

Милу взяли с поличным. Каково же было удивление Мирановых, когда в милиции они увидели свою соседку, выросшую вместе с сыном.

А потом был странный суд, на который не вызвали Мирановых. Мила получила три года условно и уже отбыла в другие края. Вина ее была признана частичной, поскольку Мирановы якобы согласились отдать деньги добровольно.

Похоже, жизнь снова обгоняет и наше законодательство. Что уж говорить о нашей неспособности защитить человека...

В одной из телепередач промелькнула фраза, с удивлением констатирующая, что ребенок был похищен не чеченской стороной...

Чего же удивляться? Ребенка может привезти в Чечню в качестве залога... собственная мать.

НОВЫЙ ПОРЯДОК

...Русская женщина на видеокассете очень похожа на молодую Гундареву. В течение четверти часа она делает отчаянные попытки договориться с хозяевами о своем долге. Лиц хозяев не видно. Отчетливо слышны голоса. Речи выстраиваются демонстративно. Агитационно, чтобы было ясно: сказанное относится не только к конкретному случаю. Претензия на обобщение пугающая: чувствуется, что уже вовсю установился свой порядок отношений «палач — жертва», «хозяин — раб»...

В течение ряда лет безнаказанности выработались целая стратегия и техника заложничества. Есть свой словарь. Свой «моральный кодекс похитителя». Правила игры для жертвы. И своя видеодраматургия. Можно показать казнь одного из заложников, а можно использовать монтажный прием: дать спокойно-мертвенное лицо вашего сына, а потом подверстать к нему сцены насилия из профессионального кино. Очень впечатляет, как считают создатели новой видеопродукции.

На этот раз глава дома менторски отчитывал женщину за огрехи ее поведения. Он говорил о чести чеченца. Называл это человеческим достоинством.

Через полчаса русская женщина все поняла. Она уже молчала и знала, что должна подчиниться порядку, о котором с пафосом говорил хозяин.

— Я как чеченец с человеческим достоинством оставляю мальчика у себя, но на него есть много желающих. Ты это знай.

Рядом с матерью сидел мальчик лет тринадцати. Красивый, как мать. Но абсолютно заторможенный. В течение часа он не изменил своей позы. Ни на сантиметр не нарушил пространства, которое занимал. Только однажды, когда понял, что его не выпустят, появилось нечто похожее на внутреннее движение. В это время за окном раздался шум проходящего поезда. Видимо, железная дорога была рядом. Несколько минут мальчик искал глазами уходящий состав. Поезд исчез. Мальчик снова впал в состояние, близкое к анабиозу. На его глазах уничтожалась мать. Он это видел отчетливо. И не мог сделать

ни одного движения. Только однажды приподнял затекшую руку и тут же бессильно опустил ее.

Вершащий «суд» обратился к мальчику: понимает ли он, что здесь происходит? Мальчик ответил: да, понимает.

Интересно, что делали в этот час гарант нашей безопасности и все его домочадцы?

Когда я смотрела вторую кассету, где все тот же мальчик обращался теперь уже к бабушке и тете с просьбой выволить его из плена, я подумала: «А как там с внуками нашего президента? Не хочет ли он...»

Мальчик был все так же в запредельном торможении. Появившаяся было слеза не скатилась по щеке. Она застыла в остекленевших глазах. Кем вырастет этот мальчик, если будет жив и если будет освобожден?..

Когда я впервые столкнулась с заложничеством, мое ощущение было такое: заложничество есть форма отстрела своего народа.

Это ощущение казалось диким. Теперь, спустя три года, оно диким мне не кажется, поскольку действительность утратила человеческий масштаб, как сказал бы Иосиф Бродский.

АНГЕЛ ЕСТЬ!

Лену Мещерякову из Грозного, дочку русской женщины и чеченца, похитили, когда ей было три года.

В шесть утра через забор перелезли люди в масках. Первой бандитам попалась бабушка Лены Анна Васильевна. Ее ударили наотмашь. Она замертво упала на землю. Связали дочь и забрали внучку. Анна Васильевна пролежала без сознания до вечера.

— Открыла глаза и чувствую, что жива. Но двинуться не могу. Попросила соседей принести бодягу. Смешали с растительным маслом. Вот этим и натерлась. Этим и спаслась. А дочь уже решила, что в одночасье осталась сиротой. Ни матери, ни дочери.

Таня, мать Лены, работала в детском саду. В Грозном. Муж умер. Всю войну сберегали детский сад, как могли.

Каждую игрушечку вымыли, высушили. Все думали, вот война кончится, и детки наши придут, — говорит Анна Васильевна. И все улыбается, улыбается. А как не улыбаться, если внучка спасена.

Спрашиваю у Тани, как она работала с чужими детьми, зная, что своя в плену?

— А как?! Дети-то ни при чем. Они неповинные.

«Малик ду!» С детьми на землю приходят ангелы.

Ангела держали в подвале восемь месяцев. Переговоры с родителями вела русская женщина. Цифры выкупа астрономические.

Я провела с Леной час в станице Прохладная, куда переехала семья Мещеряковых.

Смотреть Лене в глаза невыносимо. Потому что стыдно. Стыдно за всех и вся. За отечество, развязавшее войну, за тех, кто похитил малышку, за тех, кто допустил подобное, за себя лично, ведь ничего не сделала для освобождения. Стыдно перед бабушкой и матерью Лены.

Все внутренние неудобства Анна Васильевна с дочерью снимают сразу. Счастьем, что дочка жива. Любовью к девочке и всем, кто помог.

...Во дворе полно игрушек, к которым Лена равнодушна. Механически тербит ленту, которой перевязан букет. Меня повела в дом и остановилась перед столиком с лекарствами. Я засуетилась: «Ах, вот они, бабушкины лекарства». Она посмотрела на меня недетскими глазами и строго произнесла: «Это мои!» Фраза досталась ей с немалым трудом. Взяла бутылку с настойкой и прижала к груди. К лакомствам интереса не проявляет. Адекватной реакции на происходящее хватает минут на пять. Потом словно шторы опускаются на глаза, и Лены с тобой нет. Ушла в глубь ада своего. Эти уходы даже взрослому вынести невозможно.

Большого скопления людей не выносит. Тут же впадает в транс. Вышли со двора на улицу. Наша открытая машина вызвала в ней страх.

Из соседнего дома выбежал ровесник Лены — Андрей. Ему тоже четыре года. Сразу видна пропасть, разделяющая двух детей. Такие глаза, как у Лены, я видела у многих детей в «горячих точках». В них уже нет того, что отличает ребенка от взрослого. В них нет беспечности. Той самой беспечности, без которой трудно взрослеть. Беспечность как отражение детской защищенности. Защищенности взрослыми. Интересно, во что обходится ребенку дискредитация взрослых?

Ночами Лена часто просыпается и рукой нащупывает мать. Вместо слов иногда раздается странный рык: не то это непроговоренное слово, не то какая-то диффузная (нерасчлененная) реакция на окружающее.

Попытки отвлечь ребенка кошкой, собакой ни к чему не приводят. Рыжего котенка с соседнего двора Лена не решилась взять в руки. Собственная неприрученность не может породить потребность приручить другое существо. Когда появляются люди, интервалы между уходом в себя и возвращением становятся короче.

Понимаем ли мы, каков замес детства?

Интересно, что нас может остановить и заставить задуматься над тем, что происходит с нами, у кого нет ни денег, ни телохранителей?

ПРИКАЗАНО – ВЫЖИТЬ!

Нет, не хотела я идти на встречу с Виталием Ильичом Козменко. Не хотела. Не потому вовсе, что тяжело слушать рассказ о злоключениях в плену.

Рассказов-то как раз и не бывает. Видела многих вызволенных из плена. Чувство стыда за то, что ты не помог, за то, что пил чай в тот момент, когда твой собрат мучился в кандалах, настолько сильно, что я не хотела еще раз пережить свое бессилие.

Знала точно, знала по себе – испытала это в заблокированном Сухуми: у каждого, кто попал в мясорубку войны, возникает острое чувство недоумения. Неужели там могут спокойно пить, есть, смотреть телевизор, если здесь тебя накрывают бомбы? Не сразу понимаешь, что могут. И даже очень! Чего здесь больше – иллюзий по поводу человеческого сострадания, наивной веры в добро и солидарность? Не знаю.

Отрезвление, если оно наступает, дорого обходится.

Вот этого я боялась: встретиться глазами с тем, кто сидел в кандалах.

Майор Измайлов не боялся, потому что многое сделал для освобождения Козменко. Когда я не услышала его имени среди тех, кто вызволял старого человека, удивлению моему предела не было. А Измайлов? Он – как Ванька-встанька: у него всегда найдутся силы взглянуть на мир, как в первый раз.

И мы вошли в дом Козменко.

Уходили из дома ночью.

Смотреть в глаза Виталию Ильичу оказалось просто. Его не сломил чеченский плен. Ни физически. Ни духовно. Он сразу устранил все наши неудобства в общении одним-единственным

способом — умением выйти за пределы своих страданий. Это особая статья — выживание в плену. Возможно, Козменко об этом напишет сам. Меня же не покидало странное чувство знакомости всего того, о чем рассказывал Виталий Ильич. Что же было мне знакомо? Рассказ о кандалах? Краюхе хлеба, брошенной в яму? Угрозах юного чеченского отморозка убить ни за что ни про что? Нет, что-то другое было знакомым.

Когда Виталий Ильич назовет в самом конце рассказа ряд исторических имен, я пойму все.

Он выжил и не сломился, потому что у него не было ненависти к чеченскому народу. Он жил среди чеченцев много лет. Знал хорошо их обычаи, нравы и смотрел на зверства, учиненные по отношению к нему, с немалым изумлением.

— Откуда взялись эти звери? — спрашивает он сейчас своего друга чеченца Ису. — Я никогда раньше их не видел.

Спрашивает незлобно, как спросил бы толстовский Платон Каратаев, не надеясь отыскать причину и следствия.

Он рассказывает про своего первого молодого хозяина, отличавшегося особой жестокостью. Посадили в яму. На руках и ногах — кандалы, замкнутые амбарными замками. Сделать движение невозможно. Он просил ослабить наручники, потому что боялся нарушения кровообращения. Хозяин отказался. Но все-таки начал искать возможность хоть как-то общаться. Спросил, как они будут друг друга называть. Виталий Ильич промолчал. Чеченец сказал, чтобы Виталий Ильич называл его «сынок», а он будет его называть «дедом».

Вот так и жили. «Сынок» и «дед»... Затекали руки. Во сне снилось счастье: рука свободно лежит на бедре. «Сынок» бросал в яму кусок хлеба. Виталий Ильич уверен, что и сами хозяева не ели ничего другого.

«Сынок» считал, что «дед» — из ФСБ. Его предупредили, что «дед» владеет особыми приемами побега.

Временами в подвал доносились звуки жизни. Их жадно ловило ухо Виталия Ильича. Он слышал женские разговоры. Пытался по обрывкам фраз воспроизвести ход чьей-то жизни. Другой жизни. Отличной от его заточения.

Интерес к тому, что не в яме, интерес к тому, что лежит за пределами страданий, — это (как станет ясно потом) спасет Виталия Ильича.

...Его взяли в собственном доме. Он приехал в Грозный за

книгами. За своей библиотекой. Его многие отговаривали. Но ведь он ехал к себе домой. Чего же ему было бояться?

Что попал в плен, понял сразу. Когда проезжали город многолюдными местами, сделал попытку вырваться. Как теперь говорит, зря. Согнули беглеца в машине и били.

В носках лежали деньги. Триста тысяч старыми. Это все, что у него осталось после ограбления.

В подвале вспомнил о деньгах. Предложил «сынку» пятьдесят тысяч: «Сходи на рынок. Скоро Новый год, купишь семье еды и меня угостишь». Виталий Ильич знал, что чеченец денег не возьмет.

Так и случилось. В ответ на предложение «сынко» рассказал, как убил одного русского офицера. Тот перед смертью сказал, что у него остались деньги. «Возьми себе», — сказал офицер. «Сынко» не взял и теперь с особым шиком рассказал «деду», как подстреленный русский рухнул в яму вместе со своими деньгами.

— Интересно, — говорит Виталий Ильич, — как это у него сочетается несочетаемое? Ведь я же мог понять по голосам, что он бывал и другим. Это война производит такие сдвиги в психике? Что-то жуткое запечатлелось в его мозгу...

Наступило время, когда Виталий Ильич понял, что начинаются в его организме процессы, которыми он управлять уже не в состоянии. Это было самым страшным. В глазах начали появляться блики. Они застили тьму подвала. Ощущение времени и пространства исчезло.

...Сидя в яме другого чеченца, попросил свет в подвал. Хоть какой. Лишь бы свет. Провели трубку, по которой шел природный газ. Дали спички. На трубке не было вентиля. Иногда газ прекращался, и узник часами принюхивался, ожидая, когда подача газа возобновится. Заснуть не имел права: умер бы.

Попросил у хозяина книгу. «У нас в доме нет книг», — сказал чеченец. Виталий Ильич закручинился. «Как же нация будет возрождаться, если нет книг?» Тем не менее хозяин принес книгу. Называлась она «За тюремной решеткой». «Нельзя состричь ядовитее», — сказал бы чеховский дядя Ваня. Чеченец не острил. Это просто была единственная книга в его доме. Пригодилась чисто прагматически — секретами выживания.

Потом появился «Энциклопедический словарь». Виталий Ильич придумал систему изучения: сначала — все советские социалистические республики, потом страны и континенты, их растительный и животный мир.

Чеченца-хозяина снабжали книгами соседи. Особенно впечатлили Виталия Ильича стихи Константина Симонова о войне. Выучил все о Халхин-Голе, потом «Жди меня», «Открытое письмо женщине из города Вычуга». Наконец наизусть постиг поэму «Сын артиллериста».

Здесь, в подвале, познакомился со стихами Яндарбиева. Заинтересовало, почему автор назвал одно из стихотворений «Симфония». Не понял. Смутила строчка другого стихотворения — о деревьях, «одетых в зеленую робу». Начал сравнивать с Пушкиным. Яндарбиев сравнения не выдержал.

Особое место в заточении заняли размышления об узнике Петропавловской крепости Морозове и декабристе Михаиле Лужине. Виталий Ильич может говорить о них сутками. В рассказе есть доминанта: когда Морозова после двадцати пяти лет заточения спросили, как он это вынес, узник ответил: «Я сидел не в крепости, а во Вселенной».

...Перебрасывали из подвала в подвал не раз. Последняя отсидка показалась раем. В полуподвальном помещении высотой в 70 см он увидел раскладушку и даже простыню. Слышал голос хозяйки, обращенный к мужу: «Ты поел, почему русского не кормишь?»

Продолжал прислушиваться к жизни. Хозяйский сын ходил в арабскую школу. Постоянно читал Коран. Виталий Ильич спросил, преподаются ли в школе светские предметы. Сказали, что нет. Не преподаются. «Хочу, чтобы сын стал человеком», — сказал хозяин. Сидящий в подвале русский считал, что без светского образования нация не выйдет на мировые рубежи. Он и раньше не одобрял образовательных инициатив Дудаева.

...Одно время Виталий Ильич сидел в подвале под домом. Чувствовал, что телевизор включали громче именно для него. Как правило, это были «Новости».

Так явно и неявно складывалась некая система отношений с хозяевами. Этими контактами Виталий Ильич дорожил.

Он знал, что те, кто его охраняет, ни в чем перед ним не виноваты. Они сами заложники. Он верит в неподдельную радость своих последних хозяев, которые сообщили ему однажды, что близится его освобождение. А еще он чувствовал, что они скрывали от соседских глаз наличие в их подвале русского пленника. Значит, стыдная это затея — держать узника.

Само освобождение повергло Виталия Ильича в испуг: ему развязали глаза. Он увидел тьму машин и сотни людей. Ре-

шил, что его сейчас отобьют бандиты. Телевизионные камеры, которых тоже было предостаточно, запечатлели замешательство человека, мужественно пробывшего в плену год и два месяца.

...Сейчас он вспомнил, что, живя в Москве, много раз слышал обидные слова про чеченцев. Не раз в электричках до него доносилось: «...всех бы их, как Сталин в сорок четвертом...» Он ввязывался в спор. «Что вы знаете об этом народе? — кричал он. — Я жил с чеченцами рядом...»

Вспоминая те прежние дебаты, готов повторить эти слова.

Последний тост предложил за Магомеда, у которого сидел перед освобождением.

Время близилось к полночи, когда майор Измайлов, оглядев всех собравшихся за столом, произнес тост за Кавказ, который навсегда останется нашей родиной. Все, кроме меня, оказались жителями Северного Кавказа.

С особенным чувством именно здесь, в доме Виталия Ильича и его прекрасной жены Ольги Павловны, я вспомнила русских, армян, евреев, греков, да и чеченцев, покинувших Чечню.

...В сентябре 1995 года, в разгар войны, я искала министерство просвещения Чечни. Тоже нашла времечко для поисков! Здание министерства лежало в руинах. Мне указали на девятиэтажный блочный дом. Над подъездом криво висела сбитая пулей вывеска «Детский сад». Я спросила вахтершу, где найти министра, и услышала: «В ясельной группе. Где же еще быть министру...»

Там я и нашла министра просвещения Чечни Леонида Гельмана. Учитель. Физик. Директор знаменитой физико-математической школы при грозненском университете.

У Гельмана сгорела квартира. Она находилась рядом с президентским дворцом. Сгорело все дотла. Знаете, о чем жалел Гельман, принимая меня в ясельной группе? О Коране. Издание XVIII века. Редкий экземпляр, его в доме особенно берегли.

Грозный лежал в развалинах, а по коридорам детского сада деловито ходили учителя, словно ничего не произошло.

Нет! Произошло! С опозданием, но все же начинался учебный год. Пробежал учитель из Старопромысловского района Никулин, тот самый, что создал лучший в Союзе школьный музей космонавтики.

Гельман работал сутками: то отправлял детей на лечение, то решал вопросы с классными комнатами, пробитыми снарядами.

Он любил Грозный. Знал и понимал чеченский народ. Го-

тов был разделить с ним все его страдания. От всех заманчивых предложений покинуть город решительно отказался. Потом его похитили бандиты. Я потеряла след Гельмана. Говорят, он учительствует в Нальчике. Могу представить себе, чем отзываются в его душе чеченские события.

* * *

Наверное, уже нет в Ачхой-Мартане Ниночки Макаренко. Учительницы русского языка и литературы. Это она входила в класс после очередной бомбежки и бесстрашно спрашивала своих учеников: «Дети, вы ничего не хотите мне сказать?» Учительница готова была отвечать за все сама. Дети благородно молчали.

Я прожила у Нины две недели в 1996 году. Она была главным моим путеводителем по истории чеченского народа. Она любила в этом народе все, начиная с того, как строится дом, кончая передачей опыта от отца к сыну.

* * *

— Нет, ты посмотри, где здесь хоть одно дерево? Покажи мне дерево! — почти стонал от горя армянин Юра, с которым мы ехали в автобусе по Лачинскому коридору. Шел 1996 год. Ехали мы в Нагорный Карабах.

Юра — мастеровой. Классный обувщик. Родился и вырос в Чечне. Все друзья детства и юности — в Чечне. Вынужден был покинуть Грозный в первые дни войны. К Еревану привыкнуть не может.

— Одни камни... Взгляни! Ни клочка земли... земли... Знаешь, чего я боюсь? Умру — меня похоронят в камнях. Представь, если воскресну, то как выберусь на поверхность? Никак не выберусь. Ты это можешь понять?

Юра уверен, что если бы умер в Грозном, то обязательно воскрес бы...

На прощание он посетовал: «Выхожу утром из дома, кругом одни армяне... Скажи, можно так жить?»

Имена. Фамилии. Судьбы. Чеченец Иса произносит тост: «За возвращение в Чечню русских, евреев, армян, греков». Последняя фраза — почти платоновская: «Без них Чечня неполная».

ЭПИЛОГ
1999 год

КАЖЕТСЯ, МЕНЯ УБИЛИ НА ЭТОЙ ВОЙНЕ (СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА ПСИХОЛОГА ЭЛЬВИРЫ ГОРЮХИНОЙ)

Вам, наверное, странно, что Горюхина не пишет. Вернулась со своего любимого Кавказа — и молчит... Я замолчала еще там, в Ингушетии, увидев своих друзей в палаточных городках. Уже тогда знала, что ничего не напишу, а возможно, писать вообще перестану.

Кажется, меня убили на этой войне.

Как убили тех, кто автоматически идет две версты за водой, возвращается в палатку, укутывает больное дитя тряпьем и подолгу смотрит мне в глаза не мигая. Психологи это называют нулевым состоянием, за которым не брезжат человеческие смыслы. Их попросту нет. Они уничтожены.

...Нас было трое: я и наши спецкоры В. Измайлов и С. Михайч. Все мы на войне не новички. У каждого были свой Грозный и свои Самашки. Удивить нас было нечем. В октябре я отпраздновала своеобразный юбилей — десять лет блужданий по «горячим точкам». Так вот: было в лицах моих чеченских друзей нечто, чего я не замечала на той, первой войне. И даже не в лицах. Весь облик чеченца изменился: как женщины стоят, как они складывают руки, как смотрят, как держат дитя свое. Называется ли это обреченностью или еще как-то, но с первой секунды стало ясно: ставить такие эксперименты над народом преступно.

Эта война отняла у них силы жить. Нельзя человека дважды, трижды изгонять из дома, приговаривая, что все это делается для его блага.

...Двухлетняя Мадина спрашивает мать, заслышав гул самолета:

- В самолете сидят люди или там сидят бомбы для нас?
- Спи, спи, детка, бомбы там сидят, бомбы... Спи.

Но дитя не спит. Звук летящего самолета вызывает у ребенка конвульсии, природу которых никто не в состоянии толком понять. Да и кому понимать?

...Ну и что? Снова, как в 1995 и 1996 годах, описывать страдания каждого ребенка, старика?

Кому рассказать? К кому обратиться, когда уже сооружен мощный бастион из лжи и лицемерия... За ним мы укрыли все свои внутрироссийские проблемы, и грошовый заработок учителя уже ничто по сравнению с победоносным движением нашей армии. Замелькали лица тех самых генералов, которые еще в 1996 году говорили российским матерям, ищущим своих детей: «Пленные — отработанный материал»...

ПАЛАТКА КАРАБУЛАКА

Как всегда, помощь наша была адресная. Мы искали наших друзей.

Уже было темно. Стоял отчаянный холод — тот самый, какой бывает только на юге. Промерзаешь сразу и до костей. Сколько бы потом ни грелся, нутро все равно ледяное. Карабулакские палатки во тьме похожи на могильные курганы. Мертвящее душу зрелище.

Мы искали своего друга Асламбека Домбаева, директора школы-интерната. В прошлом году мы привозили в Грозный гуманитарный груз. Домбаев — педагог очень высокого класса, эдакий чеченский Сухомлинский. А возможно, и выше, если учесть те испытания, которые выпали на его долю. В годы первой войны он извездил на грузовике весь Грозный. Собирал детей по подвалам. Русских в том числе. Год назад он, переживший войну, был деятелен, бодр и полон сил. Меня тогда потрясло именно это: мощная педагогическая и человеческая энергия.

Мы знали, что Домбаев с детьми в Троицком. Петляли по разбитым дорогам, трижды возвращались в Назрань — и все-таки нашли грозненский приют.

Вот с этого все и началось.

За годы блужданий по «горячим точкам» я уже поднаторела в вопросе о том, как начать разговор с человеком на войне.

Помню, как несколько лет назад одна девочка-ингушка по

имени Ася все отрещивалась от слова «беженка». Она еще соотносила напрямую слово и реальность.

— Беженцы — это когда ты бежишь и куда-то прибегаешь. А мы скитаемся. Мы никак не можем никуда прибежать. Мы скитальцы. Ты понимаешь?

...Скиталец Домбаев сидел в углу дощатого летнего домика и грел руки на батарее. Накал был слабый, батарея не грела.

Наши водитель и охранник встали у входа в дом.

И Асламбек нас не узнал...

— Это я — Измайлов, это я!

— Это я, Эльвира Горюхина! Помните, мы к вам приезжали в Грозный?

Он морщил лоб и глядел мимо нас. Туда, где стояли люди в пятнистых одеждах. Потом он с трудом впустил в себя наши вопли. Но те, кто стоял у входа с автоматом, не отпустили его.

— Да, да. Слава, Эльвира... — сказал он рассеянно.

И тут же:

— А это кто? Кто они?

Потом достаточно внятно произнес:

— Слава, я их боюсь...

Он сказал это дважды. Слово в слово.

Роза, жена Асламбека, пыталась привести мужа в чувство, но это ей плохо удавалось.

Измайлов знал, что учителя не получают зарплату. Он передал им деньги, собранные читателями «Новой газеты». Они плакали. Благодарили. Слышать слова благодарности в крошечном аду — не приведи господи ни мусульманину, ни христианину, как говорят чеченцы.

...В одном дощатом домике с промерзшими углами лежала Залина, студентка грозненского медицинского института. Температура сорок, ангина. Ни тепла, ни лекарств. Здесь же — ее брат, сестра, меньшие. Испуганно смотрят на больную. Лариса, мать Залины, в толк взять не может, как жить, когда жить невозможно. Лариса — учительница. Она уже не плачет. А все смотрит и смотрит на дочь.

— А я сейчас — никто, — тихо произносит Залина.

Уж не бред ли, подумалось мне.

Лариса объясняет, что все это правда: нет ни зачетки, ни паспорта.

— А сейчас мы все никто, — успокаивает мать больную дочь.

Шепчу изо всех сил про себя: ангина, ангина, перейди с Залины на Эльвиру... Ангина, ангина...

С этим заговором уезжаем в ночь.

Нас провожают до ворот.

— Нам очень жалко вас, — говорит Роза.

Я начинаю орать, что у нас все хорошо. Зачем жалеть нас?

— Вам там плохо из-за вашего отношения к нам.

Вот оно, слово найдено, как говаривала одна из героинь Островского перед своей гибелью.

Это слово: ненависть.

Чеченцы это ощущают кожей. Нас, россиян, объединила ненависть. И, возможно, это и есть самая большая гуманитарная катастрофа, которую мы приняли за спасительный выход.

* * *

Все вертелся на языке один вопрос. Меня этим вопросом бьют по голове: «Ну и что же ваши чеченцы не боролись с Басаевым?» — на что я тут же отвечала вопросом: «А что же мы с Ежовым не боролись, с Берией? Да и сейчас есть с кем побороться...»

Как спросить у женщины, если вместо зимних сапог видишь домашние рваные тапки на босу ногу, если дите плачет, а муж неизвестно где?

Все-таки спросила. Спросила у Розы, жены Асламбека. И в тысячный раз убедилась: мы не один век на Кавказе, но так и не удосужились узнать ни один кавказский народ. Ни один...

— А он, Басаев, уже смертник... На его руках кровь и чеченцев тоже. Помню, как для устрашения он показал по телевизору одного чеченца, который им же был обвинен в сговоре с федералами. Ты думаешь, у казненного чеченца нет родни? Или у других, кого убил Басаев? Он не будет живым. Ты это знай.

Я вспомнила своего друга Хасмагомета, директора школы Ачхой-Мартана. Он говорил, что существуют обычаи и привычки чеченцев, которые русским кажутся смешными. «Но они регулируют нашу жизнь», — сказал учитель истории.

Интересно, что же регулирует нашу жизнь?

...Ангина с Залины перешла на меня.

* * *

Мы покидали детский дом в ночь. Еще мотались по Слепцовску и Карабулаку в поисках семьи Идиговых. Вы их знаете по главе семейства Лечи, который помогал нам в освобождении заложников. Он делал все, чтобы мы ощущали себя в безопасности. Леча рисковал всякий раз, когда принимал нас.

...Почему-то сейчас мне вспомнилось, как Леча спас нас с Измайловым. Мы привезли гуманитарный груз. Чеченская сторона решила выяснить законность нашей акции. Представитель правительства связался с Шамилем Басаевым, и тот распорядился арестовать и нас, и наш груз. Вот тогда Леча остался один на один с заместителем Басаева. Когда разговор закончился, мы не узнали Лечи: взъерошенный, доведенный до белого каления, лицо в красных пятнах.

А там, внизу, у дома Красного Креста, ждали нас наши чеченские друзья. И среди них — шофер Руслан.

— Вас бы не взяли. Некому было бы взять, — только и сказал Руслан.

В руках он сжимал гранату.

Ведь все это было, понимаете, было...

Хава плачет.

Мы нашли Идиговых на следующее утро. В двух маленьких комнатухах располагались не то тридцать, не то двадцать человек...

На рваном тюфяке лежала, укрывшись с головой, мать Лечи. Я дважды гостила в ее доме в Орехове. Сейчас она ничего не знает ни о муже, ни о сыновьях. Хава, жена Лечи, — моя ближайшая подруга. Она плачет и плачет не переставая. Тихо спрашиваю о ее давнем опасном недуге. Хава слабо машет рукой. Не до болезней!

Иногда мне кажется, что она плачет еще и от радости, что мы с Измайловым ее нашли. Постоянно улыбается младшая дочь Лечи Риточка.

Она улыбается еще с той, первой чеченской, войны. Получила сильную психическую травму.

Старшая дочь Роза качает сынишку. Сама на сносях. Где будет рожать?..

И все то время, что мы были в доме, в одной, неизменно одной позе стоял пятнадцатилетний сын Лечи Арсен. Надежда и гордость семьи. Он ничего не знает о судьбе своего отца, которого всегда видел сильным и мужественным. Отец Лечи успел отстроить в Орехове дом на месте разрушенного. Бабушка с внуками бежали из этого дома.

Арсен смотрит, как плачет мать, как охает бабушка, как зябко путаются в лохмотьях сестры. И вдруг мне сделалось страшно от одной мысли: как может сложиться судьба Арсена? Если бы я была Ельциным или Путиным, я собрала бы всех чеченских подростков и за несколько лет дала бы им хорошее образование.

Опыт долгих блужданий по тропам войны и встречи с обездоленными детьми убедили меня, что хороший учитель и книга могут оказаться спасительными. Видела это и в Шуше, и в Абхазии... Впрочем, о чем это я размечталась... Во что выльется суровое молчание Арсена, как сотен других мальчиков, видящих, как растаптывается достоинство их родителей и сестер?

...Я пишу об Арсене и вспоминаю раннее-прераннее утро в Шатили. Грузинские пограничники разрешили мне бродить за заставой. Как правило, беженцы появлялись из-за гор с первыми лучами солнца.

В полукилометре от заставы они располагались шатром. Спешно перекусывали, поправляли свой жалкий скарб, меняли пеленки младенцам, растирали сбитые ноги. Наши войска начали бомбить дорогу, ведущую на Шатили, именно тогда, когда пошла беженцы. Уничтожены три переправы через Аргун.

Так вот: отчаянно плакал годовалый ребенок. Мать со сбитыми ногами утешала свое дитя, но интонация была угрожающей. Я спросила женщину, о чем она так грозно причитает. Она смерила меня взглядом с головы до ног, а потом стала как-то странно стихать. И уже совершенно спокойно, отчетливо произнесла: «Как только сын начнет понимать, я расскажу ему все. Он не даст спокойно жить России».

Надо сидеть с ними на одной земле, надо чувствовать эти горы, немые свидетели нечеловеческих страданий, чтобы ощутить сказанное матерью как программу жизни сына. Чтобы понять — другого выбора нет. И еще: войне с Чечней не будет конца. Но Арсена еще можно спасти.

...А потом мы будем сидеть почти десять часов в ожидании самолета. В закуток назранского сарая, называемого аэропортом, набились те, кто нашел деньги улететь, и те, кто ждал самолет из Москвы, чтобы забрать вещи, лекарства, пересылаемые с пассажирами.

В эти часы много чего было. И открытая охота за Измайловым, и встреча с человеческой бедой напрямую. Нараспашку. Но мне на всю оставшуюся жизнь запомнился мальчик лет девяти-десяти. Он улетал со старшим братом в Белоруссию. Я узнала, что он из Самашек. А у меня пол-Самашек друзей и знакомых.

Ребенок в разговор не вступал. Но потом он вдруг начал приносить мне чеченский журнал. Номер за номером. Кажется, их было пять. Я медленно листала, а он пальцем указывал мне на картинки, значимые для него.

Я догадалась: он нашел способ поговорить со мной. Как знать — не самый ли точный способ.

Он видел снимки только одного порядка. Разрушенный ду-

даевский дворец, дом, снесенный снарядом, ребенок без ног, старуха с вывороченным животом. Очень скоро я поняла, что у этого мальчика есть свой алфавит, свой словарь, составленный из одних бед и страданий его народа.

Указанные им снимки складывались в целые фразы, и стало ясно: он уже никогда ничего не забудет.

(В 1995 году я увидела схему отчета для директоров школ Чечни. Одна графа называлась «Дети-ампутанты».)

Он спокойно пропускал целые страницы, на которых были Сахаров с Еленой Боннэр, Булат Окуджава... Этих «слов» он уже не знал. Я сделала попытку отвечать ему, показывая другие картинки-«слова». Но мне это не удалось. Других картинок, кроме военных, он просто не воспринимал. Сознание оказалось предельно суженным.

И все-таки разговор состоялся. Потом он заснул на моем плече. Спал недолго. Взорвался горизонт: началась бомбежка Бамуга.

В том, как ребенок показывал мне горе своего народа, странным образом не было ни злобы, ни агрессии.

Чеченец, маленький или большой, всегда поражал меня способностью отделить конкретного русского человека от российской государственной машины, которая какой уж век утюжит его народ. Но больше всего меня волновало, как чеченец ищет этой встречи, как надеется, что будет услышан, и как бывает счастлив, что понят...

На последней странице я увидела среди членов редколлегии имя Эллы Памфиловой. Сейчас она — в блоке с генералом Шкирко, одним из героев первой чеченской войны.

Ничего этого мальчик не знал, к счастью. Портрет политической блондинки в журнале не вызывал у него никакого интереса.

...Пока мальчик спал, беженка из Самашек, живущая сейчас со своей семьей в разрушенном коровнике, поведала мне историю, от которой разрывалось сердце.

Неужели это правда, что Серижа Умарова, жена директора самашкинской школы, умерла? Умерла при первых ракетно-бомбовых ударах. Старшие дочери Серижи — учительницы русского языка и литературы. Такой русской речи, какой владеют девочки Серижи, я уже больше никогда не услышу.

Еще тогда, в 1995 году, Луиза, дочь Серижи, сказала о войне: «Запомните, Эльвира, это не война. Это криминальные игры с плохими последствиями как для чеченского, так и для русского народа... Если это операция по вытеснению боевиков, то почему свадьба боевика охраняется федералами? Вы не знаете?»

Я не знала. Но отсюда, от дома Серижи, начнется мое мучи-

тельное постижение странной войны, смысл которой мне и по сей день не ясен.

Умаровы пережили три штурма, потерю родных и близких, но каждый раз, когда я приезжала, они давали мне кров, и лучший кусок на столе принадлежал мне, русской гостье.

— Ты помнила о нас все это время? — каждый раз спрашивали сестры.

Я помню о них и сейчас.

А потом мы выходили на трассу Ростов — Баку. Серижа строго выбирала из потока машин ту, на которой я могла в безопасности доехать до своего любимого Ачхой-Мартана. Иногда мы часами стояли у трассы. Серижа не хотела меня отпускать: «Может, останешься еще на одну ночь?»

Когда она договаривалась с водителем, я видела, как менялось ее лицо. Серижа несла за меня ответственность. «Я тебе принесу удачу, и ты приедешь еще раз».

Какую удачу принесла тебе я, Серижа?

Какова мера моей личной ответственности за все, что с тобой произошло?

Если погибла Серижа, если в страхе Асламбек Домбаев, если безутешно плачет Хава и застыл в молчании Арсен — так случилась гуманитарная катастрофа или нет?

Я выключаю телевизор, кто бы ни трепался на эту тему.

...Хорошо помню, как проезжал через КПП Кошман. Было это 11 ноября. Нас, то бишь народ, всех сметали, как мусор, с дороги. Косяком шли бэтээры, прокладывая путь чиновнику в его служебную обитель. Старух, беженцев с детьми сгоняли к обочине, как скот. Все мы искажали батальный пейзаж. Было как-то муторно на душе, потому что ты чувствовал себя участником какого-то жуткого спектакля, который нет сил прервать. И выйти из него невозможно.

...Есть еще одна мысль, которая не дает мне покоя. Об этом страшно писать. Но я напишу.

...В октябре 1996 года я бродила по Грозному в поисках телефона. Центральный телеграф лежал в руинах. Общественная приемная Ивана Рыбкина наглухо закрыта. Я опоздала на автобус в Ачхой-Мартан и начала метаться в поисках ночлега.

Все в том же центре я увидела картину, которой позавидовал бы сюрреалист. На месте разрушенного многоэтажного дома зияла огромных размеров воронка, заполненная тем, что когда-то было домом. А на одной покореженной панели я увидела бумажку. Каллиграфически ясным почерком было начертано: «Междуна-

родные и междугородные телефоны: Москва, Вашингтон, Ростов, Баку, Стамбул, Тель-Авив!»

Я стала перешагивать через груды камней и обнаружила комнату. Ну все в точности как в зоне в «Сталкере». Да, да, это была комната посреди развалин. Четверо молодых чеченцев обедали. Пригласили к трапезе... Действительно, можно позвонить в любую точку земного шара. На мой вопрос о жилье откликнулся старший в этой группе. Ему принадлежала честь предложить мне кров, так я поняла...

В комнату вошли два очень молодых чеченца с автоматами. Почти мальчики. Они были с машиной, и я вспомнила про Тамарочку Гурчиеву, живущую на окраине Грозного. Это район консервного завода. Там, на улице Обухова, я дневала и ночевала в первый год войны.

Аслан и Магомет согласились меня подвезти. Путь был длинным. Вдруг они спросили меня неожиданно: «А вы хотите познакомиться с президентской гвардией?» — и машина круто развернулась в другую сторону.

Мы мчались за город. Я увидела огромный дом, обшитый деревом. Он стоял в лесу. Просторный и чистый двор, заполненный молодыми бородачами в зеленых повязках. Меня препроводили в комнату, где отдыхали после обеда гвардейцы. Их было человек сорок. Потом я беседовала с некоторыми один на один.

Разрази меня гром, если я заблуждаюсь: ни мои проводники Аслан и Магомет, ни те четверо, что предложили мне в Нью-Йорк позвонить бесплатно (а мне туда не надо!), ни многие из тех, с кем я тихо беседовала потом, не казались мне врагами. Вот в чем соль!

С террористами надо бороться. Это бесспорно. Но когда я слышу, как сужается кольцо вокруг Грозного, я со страхом и болью думаю про Аслана и Магомета, про многих других, кого мы не сумели отделить от бандитов и ровным счетом ничего не сделали для того, чтобы с ними договориться и спасти их.

Р. С. Вчера на уроке я рассказывала про чеченского лесника, который стал боевиком, когда уничтожили одной бомбой всю его семью — жену и детей. Семерых мальчиков.

Один из моих учеников, родившихся в перестроечные годы, тихо молвил: «Значит, было за что. Вот и убили».

В голове мелькнуло: каким коротким оказался путь от Сталина до Грозного и обратно.

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Филатов. Разброс при обстреле. Предисловие
5

От автора
9

Чем спасемся?
11

Нагорный Карабах
63

Место жительства — война
87

Накануне
183

Эпилог
211

Эльвира Горюхина
Путешествия
учительницы на Кавказ

ОЧЕРКИ

Редактор И.Я.Доронина
Художественный редактор Е.П.Кузнецова

Горюхина Э.
Г71 Путешествия учительницы на Кавказ: Очерки. — М.
Текст, журнал «Дружба народов», 2000. — 223 с.
ISBN 5-7516-0224-2

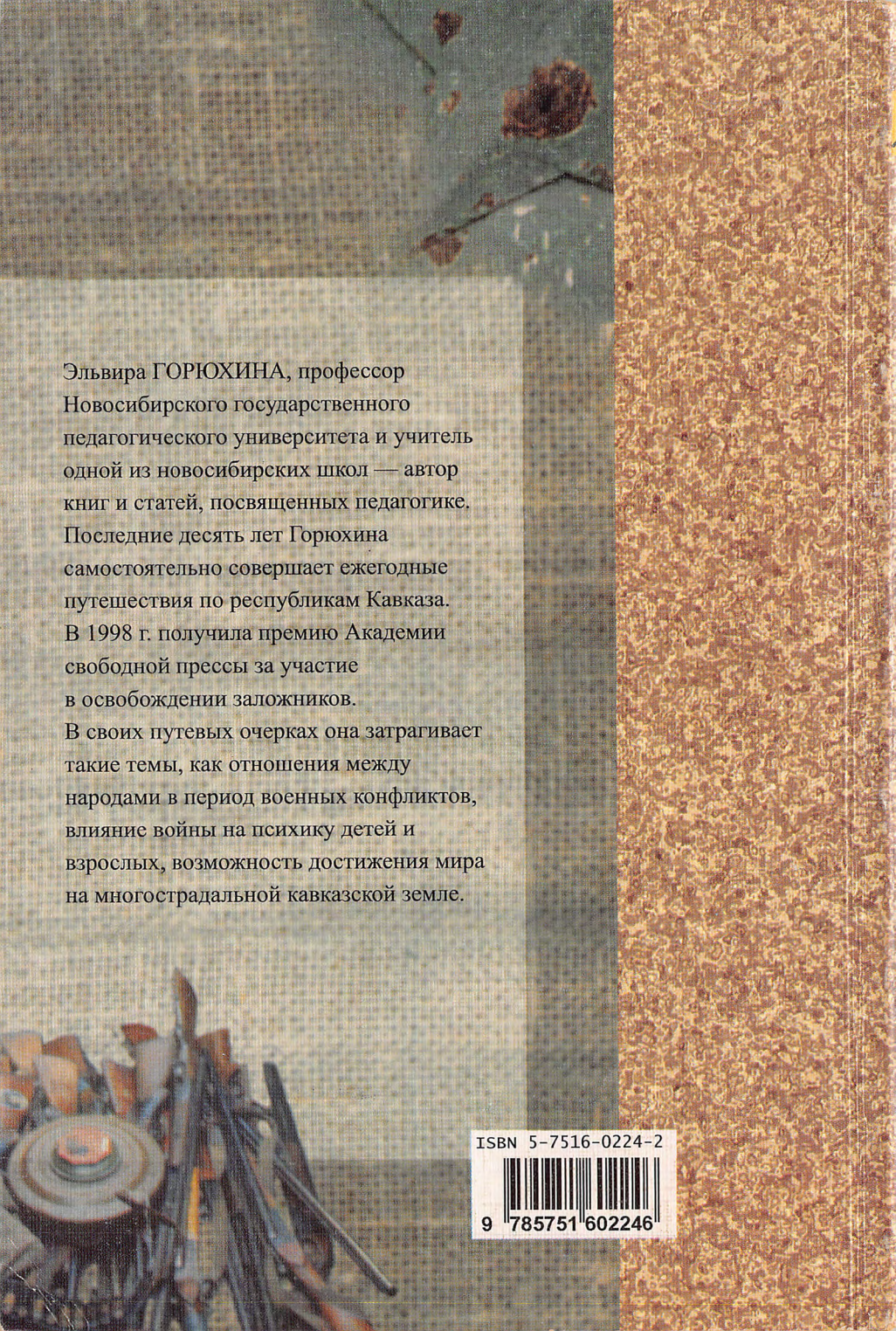
В книге очерков профессора Новосибирского университета Эльвиры Горюхиной отражены впечатления очевидицы межнациональных конфликтов на Кавказе в последние годы. Автор размышляет о причинах противостояния, о влиянии войны на психику детей и взрослых, о путях к миру между враждующими народами.

ББК 66.3 (2Рос)31

Лицензия № 063402 от 26.05.99
Подписано в печать 29.08.2000. Формат 60 x 90/16.
Усл.печ.л. 14. Уч.-изд.л. 13,75. Тираж 3600 экз. Изд. № 315.
Заказ № 1559.

Издательство «Текст»
125299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1
Тел. (095) 150-04-72
Оптовая и розничная торговля: (095) 156-42-02
Представитель в СПб. и «Книга — почтой»: (812) 311-96-31
Набор и верстка подготовлены журналом «Дружба народов»
121827 Москва Г-69, ул. Воровского, 52
Тел. (095) 291-62-27

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93



Эльвира ГОРЮХИНА, профессор
Новосибирского государственного
педагогического университета и учитель
одной из новосибирских школ — автор
книг и статей, посвященных педагогике.
Последние десять лет Горюхина
самостоятельно совершает ежегодные
путешествия по республикам Кавказа.
В 1998 г. получила премию Академии
свободной прессы за участие
в освобождении заложников.
В своих путевых очерках она затрагивает
такие темы, как отношения между
народами в период военных конфликтов,
влияние войны на психику детей и
взрослых, возможность достижения мира
на многострадальной кавказской земле.

ISBN 5-7516-0224-2



9 785751 602246